

ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

ЛЮБОВЬ В ЭПОХУ
ПЕРЕМЕН



Юрий Поляков

Любовь в эпоху перемен

«АСТ»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Поляков Ю. М.

Любовь в эпоху перемен / Ю. М. Поляков — «АСТ», 2015

ISBN 978-5-17-088897-9

Новый роман Юрия Полякова «Любовь в эпоху перемен» оправдывает свое название. Это тонкое повествование о сложных отношениях главного героя Гены Скорятина, редактора еженедельника «Мир и мы», с тремя главными женщинами его жизни. И в то же время это первая в отечественной литературе попытка разобраться в эпохе Перестройки, жестко рассеять мифы, понять ее тайные пружины, светлые и темные стороны. Впрочем, и о современной России автор пишет в суровых традициях критического реализма. Как всегда читателя ждут острый сюжет, яркие характеры, язвительная сатира, острые словечки, неожиданные сравнения, смелые эротические метафоры... Одним словом, все то, за что настоящие ценители словесности так любят прозу Юрия Полякова.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-088897-9

© Поляков Ю. М., 2015
© АСТ, 2015

Содержание

1. Шестая полоса	6
2. Танкист	10
3. Марина	16
4. Орден рыцарей правды	24
5. Сообщающиеся сосуды	30
6. Ниночка	36
7. Не трогайте мои уши!	40
8. Отказники и лабазники	46
9. Веня и Жора	53
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Юрий Поляков

Любовь в эпоху перемен

© Поляков Ю.М.

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

*Мелькнула женщина за облетевшей сливой,
Плач флейты яимовой затих на берегу.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен...*
Сун Цзы Ло

1. Шестая полоса

Дымы над широкими трубами Битцевской ТЭЦ были похожи на толстые витые колонны, подпирающие тучное небо. Москву замело и заморозило. Такого марта не помнил никто, только старик-охранник на проходной твердил, что схожая природная невидаль случилась в канун беды.

- Какой беды?
- Убийства.
- Какого убийства?
- Сталина.
- А кто ж его убил?
- Ясно кто. Евреи.

«Вот народ! Ты с ним про погоду, а он с тобой про Сталина и евреев!»

Гена Скорятин, седой апоплексический импозант, стоял у приоткрытого окна и опасно курил, как подросток, заскочивший на перемене в школьный туалет – «дернуть» по-быстрому, пока не застучала Фаза. «Немка» Фаина Федоровна Заубер обладала уникальным нюхом на табачный дым. Фантастическим! Она могла спокойно заполнять сидя за столом классный журнал, но вдруг ее ноздри хищно вздрагивали, лицо вспыхивало карательным румянцем, а немаловажный зад резво отрывался от стула, и Фаза тяжким командорским шагом безошибочно направлялась к тому «мальчишковому» туалету, где творился смертный грех табакокурения. Сказав: «Ни на кого не смотрю!» – она крепко брала преступника за ухо и тащила через всю школу во двор, проветриться. О, это был путь позора! Под ногами путалась глумливая малышня, гоготали издали жестокие дружки, успевшие спрятать свои окурки, но главное – обидно хихикали ровесницы, чьи форменные юбочки день ото дня становились все короче, а ноги все длиннее! К тому же, ухо раздувалось, как ватрушка, и долго потом болело.

Скорятин пощупал мочку, вспоминая стальные пальцы Фазы, и выпустил в приоткрытое окно струйку дыма. Отсюда, с шестого этажа, из редакторского кабинета, было видно, как прохожие, подняв воротники, спешат меж сугробов домой, к теплу, а за ними гонится, извиваясь, поземка. Метель залепила снегом даже огни светофоров. Машины, сгрудившись на перекрестке в безнадежном заторе, жалобно и разногласно сигналили. На белых лобовых стеклах мятущиеся «дворники» едва успевали выскабливать удивленные полукружия. Толстый регулировщик, стянутый портупеей, как готовая к переезду подушка, размахивал полосатым жезлом и, казалось, дирижировал воем автомобилей.

Сделав последнюю долгую затяжку, Скорятин выбросил окурочек, и тот затерялся в косо летящих белых хлопьях.

«Дожил, ёкарный бабай! В собственном кабинете уже и покурить нельзя. Как в школе! Запретили! И кто? Заходьрка. Сволочь, тащит все, что под руку идет!»

Но бесился он не из-за воровства, которое стало в Отечестве чем-то вроде обмена веществ в организме. Казалось, перестань люди воровать, брать взятки, откатывать – все сразу остановится, замрет: заводы не будут дымить, поезда стучать по рельсам, самолеты не смогут взлетать и садиться, банки торговать деньгами, а танки вращать башнями, целясь во врага. Казалось, без воровства исчезнет смысл существования, ибо на честные деньги жить неинтересно и утомительно. Злился он по другой причине: Заходьрка стала лезть в его дела – нагло и нахраписто. Вот и сегодня, едва поздоровавшись, голосом следователя спросила: «А где же ваша статья?» – «Твое-то какое дело? Твое дело, коза, по калькулятору маникюром щелкать и ноги задирать!»

А статья вышла отменная. Одно название чего стоит – «Клептократия»! После многих лет разлуки вдохновение ворвалось в остывшее Генино сердце, как буйная старшекласница

в спальню пенсионера. На следующий день утром он перечитал сочиненное в ночной лихорадке и вместо привычного срама за неодолимую приблизительность слов почувствовал сладкое стеснение в горле – верный признак удачи. Но публиковать нельзя! Ни в коем случае! Кио – жуткий человек. Отобьет голову одним шелчком. И не печатать тоже нельзя. Хозяин требует: скорей, скорей, скорей! Хорошо ему: сидит, хорёк, в Ницце, купается в Средиземном море, гуляет по Английской набережной, заказывает по Интернету тёлку и трахается, как тропическая землеройка. Одно слово: Кошмарик!

Скорятин прижал воспаленный лоб к стеклу, почувствовал ледяной ожог и, посвежев, вернулся к столу, заваленному бумагами. Чего там только не было: рабочие полосы, депешки из инстанций, приглашения на приемы и презентации, «трудные» тексты, письма читателей, готовые материалы, отпечатанные на «собаках». Сверху лежал ксерокс чудодейственной мужской диеты «Простоед», выловленной в Интернете заботливой Алисой. Из-под «Простоеда» торчал конверт с билетами на премьеру «Ревизора» в театре имени Таирова. Обозреватель «Мымы» Сеня Карасик был на прогоне и радостно доложил, что это лучшая работа гениального Йонаса Жмудинаса – мастер от души поквитался не только за ужасы советской оккупации, но и за все обиды Великого княжества Литовского.

Гена задумался: спектакль – удобный случай. Надо же наконец вывести Алису в люди, показать и поглядеть, как на нее посмотрят. Бог даст, обойдется: Марину давно уже не зовут в приличные места, знают, что напьется и набезобразничает. Со времен, когда она была молода и красива, у нее осталось веселое чувство вседозволенности. Может и драку устроить из ревности, но вероятность встречи жены и любовницы ничтожно мала. Стоит рискнуть. В последние дни ему часто приходила мысль о тектоническом переустройстве жизни. Однако выведя женщину из сумрака спальни, можно ее не узнать. Ошибиться нельзя: старость надо встретить с удобной, нежной, надежной подругой. Разводиться и делиться совсем не обязательно: вон сенатор Буханов, когда к себе на Кипр летает, полсамолета бронирует под свой гарем с детишками, говорит: «Отдыхать надо по-семейному!»

Скорятин спрятал конверт в боковой карман, решив спуститься к Алисе сразу после планерки. В предчувствии близкого свидания тело замечталось, а пожилые гормоны затомили сердце несоразмерными желаниями, не зря же Гене раз в три месяца вкалывали молодильный тестостерон. Скоро снова идти: шарик-то сдувается. Такая вот романтическая химия...

Он сел в кожаное кресло «босс» и, чтобы отвлечься, взял со стола свежий номер журнала «Денди-ревью». Ну охломоны! На глянцевого обложке был изображен президент в виде Карабаса Барабаса с пышной накладной бородой. В правой руке гарант сжимал плетку с тремя хвостами, на которых теснились слова: «Цензура», «Нечестные выборы», «Политзаключенные». Левой дергал за веревочки, на них корчились неприятные марионетки, напоминавшие лидеров парламентских партий. А на дереве сидел бесстрашный Буратино, означавший, надо полагать, внесистемную оппозицию. Приставив растопыренные пальцы к шнобелю, деревянный человечек дерзко дразнил разгневанного суверена, одетого в пижаму дзюдоиста.

«И ведь не боятся же!» – покачал головой главный редактор и шелкнул пальцем по рыжему замшевому носу песцового снеговичка, стоявшего рядом с монитором.

Потянувшись до хруста в суставах, он взялся за почту, разобранную секретаршей: письма были вынуты из конвертов и прикреплены к ним степлером, чтобы не перепутались. Когда-то, давным-давно, больше всего на свете журналисты боялись попасть под страшное постановление ЦК КПСС «О работе с письмами трудящихся»: за не отправленный вовремя ответ ничтожному жалобщику можно было схлопотать выговор и даже вылететь с работы. Нынче хоть все письма, не читая, сваливай в мусор – никто не заметит, всем наплевать. Прежде начальство все-таки интересовалось: о чем там, внизу, попискивает прижатый тоталитаризмом народец? Пресса была чем-то вроде смотрового окошечка в камеру заключенных. Теперь никому ничего не надо, кроме денег, теперь, блин, демократия: не нравится власть – не выбирай. Она сама

себя выберет. На то и урны. Поэтому пресса почти разнадобилась – держат так, для приличия, чтобы на переговорах западные умники не доставали.

Однако Геннадий Павлович сохранил старый советский обычай начинать рабочий день с редакционной почты, читал, писал резолюции, направлял в отделы, хоть знал наперед: если сотрудники и ответят авторам, то с вежливым хамством. Сделать с этим ничего нельзя. Время такое. Память о том, что сам он по молодости поучаствовал в сотворении нынешнего несуразного мира, жила в его душе подобно давнему постыдному, но незабываемо яркому блюду. Скорятин вместе с Мариной, семилетним Борькой и трехлетней Викой стоял в 1991-м в живом кольце, заслоняя Белый дом, прижимая к груди бутылку с вонючим «коктейлем Молотова» и готовясь к подвигу, но танки не приехали.

«А может, остаться сегодня у Алисы? – возмечтал Гена. – Виталик, вроде, на сборах... Нет... Ласская снова запьет...»

В первом письме ветеран лесной промышленности из Сыктывкара с подходящей фамилией Сердюк возмущался вырубками зеленого богатства и предлагал организовать «вооруженные народные дружины для защиты деревянного золота от беспредела».

«А что? Правильно!» – подумал Скорятин.

Ему самому иной раз хотелось, выходя из дому, прихватить шестизарядный «винчестер», подаренный акционерами к пятидесятилетию. Народ стал нервным, драчливым: если похмельный мужик в магазине лез без очереди, его давно уже никто не останавливал и не совестил – зарежет. Были случаи. А кавказская пацанва превратила соседнюю общагу в аул и совсем обнаглела: затащили в подвал и всю ночь поганили школьницу, возвращавшуюся из балетного класса. Сначала, как говорится, чем могли, а потом, ублюдки, пуантами. Милиция связываться не хотела – под окнами визгливые горные теткы оралы, что только проститутки ходят на улицу вечером без родственных мужчин. Скорятин позвонил начальнику отделения по фамилии Гантулаев, погрозил публикацией. Дело завели. Тогда приехали белобородые аксакалы с дарами. Дело закрыли. Гена вскипел, но ему объяснили: «терпины» сами забрали заявление и теперь меняют квартиру – улучшаются.

«Кстати, а что у нас с шестой полосой?» – спохватился главный редактор.

Там под рубрикой «Социология для бедных» с колес шла статья знаменитого правозащитника Адама Королева. Называлась она «Гимн понаехавшим». Автор был когда-то знаменитым диссидентом, сидел, стучал, митинговал, призывал раздавить гадину, но устал и затворился в санатории. Зато его сынок, редкий балбес, крутил бизнес с кавказцами, и старичка попросили потряхнуть либеральной стариной. Точнее, позвонил из Ниццы Кошмарик (он теперь, видите ли, кавказскую карту разыгрывает!) и приказал: «Нужна статья о том, что Россия без мигрантов погибнет!» «Зачем?» – удивился Гена. «Много знаешь – мало получаешь! – хохотнул хозяин. – И готовь бомбу про Кио!» Под ником Кио в телефонных разговорах проходил кремлевский скорохват Дронов. Скорятин еле отыскал Адама в Рогашках, долго уламывал, сулил тройной гонорар, убеждал, взывая к политкорректности. Убедил. Однако статья вышла не про то, как полезны «понаехавшие», а про то, какой ужас начнется, если русские сорвутся с цепи.

Гене страшно захотелось набрать Алисин телефон, но он удержался. Пусть попереживает, погадает, почему не зашел утром? Как говорил покойный тесть, женщина – существо ожидающее. Мужчина – ожидаемое.

Главный редактор развернулся во вращающемся кресле и посмотрел на стену: там между двумя большими фотографиями висели отпечатки полос. На левом снимке Ельцин, воздев беспалую руку, вещал с танка. В толпе можно было узнать молодого Скорятина, худого и ярого. Рядом стояли гордый Исидор и пьяный Шаронов. Правая фотография запечатлела великую тройку: Сталина, Черчилля и Рузвельта на Ялтинской конференции. Вожди читали «Мымру». Шутейный фотомонтаж к юбилею подарили коллеги из «Огонька». От одного снимка к дру-

гому протянулась рейка с пронумерованными гвоздиками. На них накалывали сверстанные полосы – и можно было одним взглядом оценить готовность выпуска. Шестой гвоздик пустовал.

«Не сдали полосу, мерзавцы!» – Гена сердито нажал клавишу селектора, оставшегося еще с советских времен. Аппарат давно устарел, несколько раз ломался, но его чинили, хотя стоило это дороже, чем установить японскую систему связи.

Секретарша не отзывалась.

«Где ее черти носят! Не редакция, а Гуляй-поле какое-то!» – выругался он и вдавил клавишу с надписью: «Жора».

– О величайший, слушаю и повинуюсь! – сквозь шипение ответил всегда веселый Дочкин.

– Что там с шестой?

– Ты гений! – ответил Жора.

– Да ладно... – Гена улыбнулся с чемпионским смущением.

– Гений! Не спорь, о скромнейший из скромных! Аристофан Свифтович Салтыков-Щедрин! «Клептократия»! Убиться веником! Это та-а-ак рванет!

– Ты никому не показывал?

– Ну ты спросил! Могила. В номер?

– Повременим.

– Прав, прав, о дальновиднейший! А знаешь, какой сегодня день?

– Какой?

– Двадцать четыре года, как умер Танкист.

– Неужели двадцать четыре?

– Да, Гена, да! «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи...»

– Надо помянуть.

– Когда? – оживился Жора.

– Пока не знаю.

– Жду команды, о золотоперый! Водка стынет в жилах.

– А что там с шестой? Бред Адама поставили?

– Стоит.

– А где полоса?

– Сун Цзы Ло держит.

– Почему?

– Правит «Мумию на вынос!».

– Поторопи! Не люблю я пустые гвоздики в понедельник. Помнишь, как Танкист говорил?

– Помню: сам погибай, а газету выпускай.

2. Танкист

Конечно, теперь, когда все делается на компьютере и, нажав кнопку, можно увидеть на экране любую полосу, рейка, гвоздики, правленные оттиски выглядят глупым приветом из прошлого, из эпохи незабвенного Танкиста. Скорятин зажмурился: ах, какое было время! От клацающего линотипа он бегом нес теплый набор, завернутый во влажную гранку, метранпажу, клал на оцинкованный стол и умолял:

– Семёныч, быстрее, график срываем!

Семёныч, толстый, степенный мужик, неторопливо вытирал ветошью руки, испачканные типографской краской, разворачивал гранку и качал головой при виде бесчисленных «вожжей», тянувшихся от зачеркнутых неверных слов к правильным, выведенным на полях четким подчерком.

– Над стилем работаешь, Паустовский? Ну-ну...

Метранпаж ослаблял винты талера, вынимал из набора, поддев шилом, ошибочные строчки, вставлял новые, вбивая их на место деревянной рукояткой, и прокатывал свежий оттиск. Через минуту Гена уже мчался по коридору, гремя полосой, в корректорскую. Женщины возмущались: продукты, купленные в обеденный перерыв, были сложены в сумки, оставалось дожидаться радостной вести, что номер подписан, – и домой, к мужьям, к детям. А тут такое! Они, как куры, набрасывались на текст, «строчили» – читая на пару и сверяя правку. Не найдя ошибок, подписывали полосу.

Дальше путь лежал к уполномоченному Главлита, которого звали по старинке цензором. Он-то и допускал полосу к печати – залицовывал. Замечательное время! Все было просто и ясно: ты хочешь сказать правду, а кто-то наверху тебе не велит. Значит, или ты его обманешь, перехитришь, обведешь, словно нападающий защитника, или он заткнет тебе рот, и ты напишешь неправду, а наутро твоё вранье прочитают миллионы доверчивых подписчиков. Конечно, на самом деле все было сложнее и тоньше. Власть напоминала тяжелого и подозрительного больного. Чтобы убедить его в необходимости укола, приходилось хитрить, заходить с разных сторон, даже порой соглашаться, будто он совершенно здоров, а потом, улучив момент, – воткнуть шприц. Обманутый хроник вопит, но уже поздно, поздно: струйка правды расточилась по гнилой крови. Если удавалось, друзья гордились тобой, а женщины смотрели восхищенно-влажными глазами. Если не удавалось, что ж – друзья скорбели, а женщины смотрели сочувственно-влажными глазами. Ах, какое было время!

...Уполномоченный Главлита, молодой смешливый парень, сидел в отдельном кабинете без таблички. На стене – большая карта нерушимого СССР и вырезанный из журнала портрет старины Хэма в знаменитом шкиперском свитере. На столе – стопка непонятных справочников без надписей на корешках. В углу – сейф для особо секретных инструкций. Цензор всегда работал, как бухгалтер, в нарукавниках – свежие оттиски пачкали одежду. Он откладывал новый роман Хейли или Стругацких, просматривал полосу, приветливо кивая каждый раз, когда видел, что его замечания учтены и текст исправлен. Потом улыбался и хитро смотрел на стажера:

– Значит, говоришь, самое тяжелое – поднять нашу легкую промышленность? Лихо! А вот это просто клёво: «Кресло дается чиновнику, чтобы работать головой, а не отдыхать ягодицами!» И название отличное – «Ситец – тоже броня!». Сам придумал?

– Сам.

– Опасный ты парень! Ладно, не бойся – оставляю. Может, из тебя Юрий Трифонов выйдет. Будут доценты изучать раннего Скорятина, и меня, чербера бумажного, добрым словом вспомнят. А это еще что такое?

На лице цензора возникло выражение детской плаксивой обиды:

– Ну сколько раз повторять: нет никакого Кустанайского танкового завода. Ну нет его! Есть Кустанайский завод сельскохозяйственных машин. Исправляй! Не залитую.

– Корректурa домой ушла... – побледнел от ужаса будущий Трифонов.

– Догоняй теток!

В тот вечер номер подписали на час позже. Вот тогда-то Гена впервые и попал на ковер в кабинет Танкиста. Преступление было очевидно: на пятнадцати гвоздиках висели подписанные полосы, и только под одним зияла пустота. А виновником этой страшной пустоты был он, Скорятин. Главный смерил злодея долгим тяжелым взглядом, отчего Гена невольно встал по стойке «смирно».

– А если бы газету в окопах ждали? – спросил Танкист прокуренным скрипучим голосом. – Молчишь? М-да... Выгнать тебя к чертовой матери с волчьим билетом, и плевать, что за тебя, дурака, хорошие люди просили.

– Иван Поликарпович...

– Молчать! Не выгону. Мозгам своим скажи спасибо. Я в журналистике сорок лет, фронт прошел, а мне и в голову ни разу не пришло, что дефицит тряпья – то же самое, что нехватка брони на Курской дуге. Разгромом пахнет. Молодец ты, хоть и разгильдяй! В последний раз прощаю. Иди! Стой! Начальник в кресле не только головой работает, но и задницей. Сам узнаешь. Сгинь с глаз моих, обормот!

За Гену просил тесть, заведовавший в Художественном фонде закупкой свежей живописи, а дочь главного оказалась, как на грех, художницей – «авангардурой». Так он сам выражался в узком кругу. Танкист относился к мазне единственного ребенка точно к обидной болезни, вроде диареи. А что поделаешь – кровиночка.

Иван Поликарпович Диденко (в редакционном обиходе – Танкист или Дед) редактировал «Мымру» лет двадцать. Фронтовой корреспондент, разъезжавший на броне танков чаще, чем на редакционной «эмке», он умудрился даже затесаться в одну из групп, посланных вывесить на рейхстаге знамя Победы. Но отряд накрыли минометным огнем, и задание они не выполнили. Когда-то Дед гремел очерками о послевоенной Кубани, сильно отличавшимися от сытой и веселой жизни киношных казаков. Он даже сидел в следственном изоляторе, пока разобрались, вернули партбилет и вставили за казенный счет железные зубы. Свой первый серьезный пост, и не где-нибудь, а в «Правде», Танкист получил после того, как хорошенько «протасил» безродных космополитов в краевой газете. Вся читающая страна повторяла тогда его каламбур: «Борьба с “космополипами” требует скальпеля!» Он долго работал заведующим отделом в главной партийной газете, а потом ему доверили самостоятельное дело – новый еженедельник «Мир и мы», созданный в самом конце «оттепели» при Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, чтобы продемонстрировать «определенным кругам на Западе», что в Советском Союзе тоже есть беспартийная, даже свободная печать. Диденко вызвал сам Сулов и сказал:

– Давай-ка посмелей, но без партизанщины. Не подведи!

Не подвел: газету делал лихо, дерзко, с выдумкой, но без карманного интеллигентского кукиша. Острые материалы обязательно согласовывал на Старой площади. Впрочем, это не спасло его от инфаркта и двух выговоров – с занесением и без занесения. Однако в те времена, когда Скорятин после журфака, по протекции тестя (сначала Гену распределили в «Тургайскую правду»), пришел в «Мымру», Ивана Поликарповича редко звали Танкистом, чаще Дедом. Он превратился в усталого, обрюзгшего старика с одышкой и синими губами сердечника. Обычно вечером, в четверг, Дед сидел над готовыми полосами, мрачно рассматривал визы корректуры, ведущего редактора, штамп Главлита и никак не решался подписать выпуск «в свет», напоминая сапера, тяжело склонившегося над миной неведомой конструкции. А утром, придя, как всегда, к девяти, он пил чай с баранками и косился на «вертушку» – телефон цвета слоновой кости с латунным советским гербом на диске. Партийное начальство

начинало рабочий день с чтения главных газет: «Правды», «Известий», «Совраски», «Комсомолки», «Труда»... До «Мымры» руки доходили часам к одиннадцати. Как раз в это время Дед просил секретаршу, служившую с ним, кажется, еще в «Красной Кубани»:

– Зинаида, накапай валерьяночки!

Когда стрелки, малая и большая, сходились на двенадцати, его морщинистое лицо весело, а в начале первого, поняв окончательно, что роковых ошибок в номере не обнаружено, Дед, потирая руки, собирал редколлегию, чтобы поощрить, пожурить и поставить коллективу новые задачи. Ну а если все-таки, очень редко, «вертушка» звонила, он осторожно брал трубку, слушал нагоняй, багровея, никогда не спорил, отвечал по-военному: «Виноват», «Не повторится», «Учту», «Так точно!» Но никогда не выдавал на расправу сотрудника, допустившего прокол или неположенное своемыслие. Лишь потом, отдышавшись, приняв седуксен, Диденко вызывал «вредителя», ставил по стойке «смирно» и воспитывал крупнокалиберным окопным матом. Чаще всего попадало Скорятину, которого так и тянуло к разоблачениям и запретным темам. Наругавшись, Танкист брался за сердце и говорил уже спокойно, почти жалобно:

– Гена, не надо! Зачем?

– Но это же правда!

– Да нет никакой правды! Правда – то, от чего жить хочется. А когда от правды впору удавиться, это не правда...

– А что же это, Иван Поликарпович?

– Сам когда-нибудь поймешь... Ладно, иди! В последний раз прощаю.

Сколько их было, «последних прощений», – не сосчитать...

Сняли Танкиста вскоре после прихода Горбачева. Тогда многих погнали. Убрали, не дожидаясь оплошности, как полагалось прежде, при застое, просто вызвали на Старую площадь и освободили. От оскорбительной внезапности Дед слег с инфарктом и в редакции больше никогда не появлялся, а его немногочисленные вещи, включая макет «тридцать-четверки», вывозила Зиночка – нерасписанная жена вдового шефа. Это обстоятельство они почему-то тщательно скрывали, хотя даже студенту, пришедшему в «Мымру» на практику, первым делом докладывали:

– С Зинаидой Антоновной повежливей. ППЖ!

– Что?

– Походно-полевая жена.

На пенсии они наконец расписались. Диденко выздоровел, поднялся, кто-то даже видел его 9-го мая у Большого театра в орденах и медалях. Умер он неожиданно: гулял во дворе и слушал по приемнику, висевшему на груди, трансляцию Съезда народных депутатов. Когда Зинаида, увидев в окно неладное, прибежала к рухнувшему в сугроб мужу, из транзистора молотил всезнайка Собчак, бодрый, как распорядитель утренней гимнастики.

Шабельский, сменивший Деда, велел убрать из редакции все напоминавшее о временах Танкиста, в том числе и рейку с номерами. Но когда Скорятин стал главным, он распорядился вернуть гвоздики. Зачем? Ну, во-первых, так привычнее. В старости не поспеваешь за торопливой новизной, которая кажется лавиной нелепостей и ошибок, и хочется чего-то давнего, знакомого, привычного. Кроме того, рейка с гвоздиками казалась ему признаком власти, как, скажем, скипетр или горностаевая мантия монарха.

Гена снова нажал кнопку – секретарша не откликнулась.

«Вот сучка!»

Тогда он вызвал по селектору своего первого заместителя Сун-Цзы-Ло. На самом деле звали его Володей Сунзиловским. Когда-то он учился в институте восточных языков на китайста, готовился в дипломаты, забредал на сходки Рыцарей Правды, сидел, молчал, ухмылялся... Сгубила его безответная любовь: втюрился в однокурсницу, сделал предложение, получил

обидный отказ и наложил на себя руки – неудачно, по-детски. Как «суицидалу», ему прилепили диагноз, сослали на год в академку, но главное – он стал невыездным, и международная карьера накрылась большим медным тазом с колосистым советским гербом на днище. В журналистику Володя попал случайно: принес с улицы в «Мыру» статью о жуткой расправе на площади Тяньаньмэнь. Написал с тайных слов потрясенного однокурсника, служившего в советском посольстве в Пекине. Тот уверял, будто танки ездили по башни в разломанном человеческом мясе. Врал, наверное. Вон, сначала тоже кричали, что и в Белом доме в 1993-м убили тысячи людей, а потом оказалось: всего двести, и ни одного депутата. Шабельский пришел от материала в восторг и взял Сунзиловского на договор, а потом и в штат. Володя долго вел международную политику, дорос до зама. Исидор, мечтавший возглавить «Известия», готовил его в приемники, но не вышло. Неудавшийся китаист был скрытен, замкнут, немногословен, чурался женщин и очень редко смеялся из-за своих огромных желтых зубов, которые при малейшей улыбке выпирали изо рта, делая его похожим на веселую лошадь.

К 1991-му сумасшедших вокруг стало столько, что, казалось, в Москве проходит Всемирный фестиваль буйно помешанных. Доктора хором каялись за карательную психиатрию и признавались в жутких врачебных ошибках. Сунзиловского объявили жертвой совкового произвола, сняли диагноз и выпустили наконец в Китай. Вернувшись, он совсем перестал улыбаться, затуманился и ходил по редакционным коридорам скорбной тенью. Правда, не забыл угостить коллектив кислой китайской водкой, настоящей на змее.

– Ну и как там, в Поднебесной? – любопытствовали сослуживцы, запивая кислятину родной «Пшеничной».

– Мы идиоты! – отвечал он.

– Почему?

– Скоро поймете!

В кабинет к себе он пускал неохотно, а дома у него вообще никто не был, хотя в те времена вломиться кочующей пьяной оравой к кому-то на квартиру в полночь и гудеть до утра было делом обычным. Осчастливленный хозяин хмурился, протирая сонные глаза, вываливал из холодильника последние припасы, а за водкой бегали потом к таксистам. Поговаривали, что Володя пишет стихи в духе Ли Бо, но их тоже никто не видел и не читал. Однажды Веня Шаронов, не найдя собутыльников в пустой редакции, решил проведать загрипповавшего Сунзиловского, взял пузырь и без звонка поехал к нему в Сокольники. На осторожный вопрос из-за двери: «Кто там?» – остроумный Шаронов ответил не своим голосом: «Мосгаз», намекая на знаменитого душегуба Ионеску, в 1960-е кромсавшего топором доверчивых москвичей. Но Володя шуток не понимал, потянул носом воздух, отпер и попал по полной программе. Шаронов обнаружил за дверью квартирку, любовно отделанную в китайском стиле: ширмы, бамбуковые занавески, низкая мебель, яркие бумажные фонарики. Со стен свисали свитки с иероглифами, птичками и кудрявыми срединными пейзажами, а также майоликовые талисманы с алыми кистями. Из угла мудро улыбался Конфуций. На бамбуковом столике стояли крошечные глиняные чайнички и чашки, пахло жасмином. Простой, как сто грамм, Веня вломился в самый разгар изысканной чайной церемонии и воскликнул:

– Ну, ты прямо Сун Цзы Ло какой-то!

Кроме Володи, одетого как мандарин, в чаепитии участвовала замужняя мымринская дама в едва наброшенном на голое тело шелковом халатике с серыми уточками. Больше ничего выведать у Шаронова не удалось, как Жора ни накачивал его пивом с водкой.

– Женская измена охраняется государством! – еле ворочая языком, отвечал Веня.

Коллектив в ту пору был немалый, сто человек с лишком, поэтому редакционные сплетники так и не смогли вычислить, кто же чаевничал с зубастым китаистом на низком ложе. А за Володей с тех пор закрепилось прозвище «Сун Цзы Ло», на которое он с удовольствием откликался, чувствуя себя почти великоханьцем.

В последние месяцы Сунзиловский выглядел плохо, похудел, в лице появилась сухая желтизна, ходил, шаркая, и останавливался перевести дух. Говорили: «онкология». Зато он стал чаще улыбаться, и все наконец узнали, кто же та секретная дама. Корректорша Мила Тюрина теперь безвылазно сидела у него в кабинете, щебетала и с ободряющей улыбкой смотрела на больного Володю безнадежными глазами.

– Что происходит? – строго спросил Скорятин, когда Сун Цзы Ло тяжело уселся перед ним. – Где «Мумия»? – и осекся: бедный Сунзиловский сам стал похож на мумию.

– А нам это надо? – спросил зам, едва открывая рот, чтобы не показывать некрасивые зубы.

– Но другие-то пишут!

– Ты же знаешь, почему они пишут и откуда ноги растут. Нам-то это зачем? Кошмарик приказал?

– Нет.

– Тогда зачем людей стравливать? Ну да, у нас семьдесят лет была такая религия. Все молились на Светлое Будущее. Пролетариат – бог. Классовая борьба – Богородица. Маркс с Лениным – пророки. Верили, что человек и наука могут все. Понимаешь, все! Могут труп сделать нетленным. Почему мощи Ильи Муромца не гниют, мы не знаем. Чудо! А почему Ленин не гниет или почти не гниет, знаем. Наука! Мавзолей – храм этой бывшей веры. Зиккурат. Пирамида. Какая разница! Но теперь мы снова хотим верить в Бога Живаго, а не в Человека. Ладно! Попробуем. Но пусть эти позитивистские мощи лежат там, где их положили. Не мы положили, не нам выносить. Лет через сто разберутся...

– Ты уверен?

– Уверен. Китайцы древней и мудрей нас. Думаешь, они не знают, сколько народу Мао угробил? Отлично знают. Но условились: лет пятьдесят об этом ни-ни. Думать – пожалуйста. Говорить – нет...

– Разве это хорошо?

– Плохо. Но мерить прошлое настоящим еще хуже. Ведь то, что для нас зло, для потомков может оказаться благом. И наоборот. Так бывает.

– Конфуций?

– Не исключено. Не надо глумиться над бывшей святыней. Люди совсем отучатся верить. Понимаешь?

– Ну да...

– Ген, сними из номера «Мумию»!

– Я обещал.

– Кому?

– «Мемориалу».

– Напрасно. Сборище обиженных внуков.

– Ну, это как сказать, – возразил Скорятин.

Он ждал от «внуков» премию «За борьбу с тоталитарным прошлым».

– Сними!

– А что в «дырку» поставим?

– Найдем. Может, еще и некролог какой-нибудь выскочит. Жизнь течет. Помру – напишете.

– Типун тебе на язык!

– Я пошел?

– Иди! – бессильно махнул главный редактор.

– Ты что-то сегодня плохо выглядишь.

– Просто устал, не выспался.

- Я тоже думал, просто устаю. Оказалось – симптом. Чуть ли не главный. Обследуйся! Тут важно не прозевать. На второй, даже третьей стадии теперь лечат...
- Обязательно! Может, Вов, тебе в «кремлевку» залечь? Я позвоню.
- Оттуда меня точно вынесут, как Ленина. Помнишь, у Веньки:

Икрою кормят в ЦэКаБэ,
Зато врачи ни «мэ», ни «бэ».

Володя тяжело встал и пошаркал к двери.

– Как тебе моя «Клептократия»? – вдогонку спросил Скорятин.

Его задело, что Сун ничего не сказал о статье, а ведь Гена под большим секретом дал прочесть только ему и Жоре. Володя остановился, с трудом повернулся, улыбнулся шире, чем обычно, – во весь свой лошадиный оскал:

– Прежде чем говорить императору правду, не забудь встать на колени. Ты не осторожен, мой друг!

Гене показалось, что у бедняги похудели даже зубы.

3. Марина

Проводив Сун Цзы Ло, Скорятин попытался снова сосредоточиться на письме о незаконной вырубке Коми-лесов, но не смог. Он не выспался, чувствовал себя старым, усталым и, поднимаясь в редакцию, на шестой этаж, даже не заглянул, как обычно, на третий, в «Меховой рай», к Алисе, чтобы выпить кофе и поболтать. Ему было совсем скверно.

Ночью, очнувшись от путаного сна с погонями и сердечным испугом, он долго лежал, не открывая глаз и надеясь уснуть, но в голову лезло все то, от чего удавалось отмахнуться днем. Вспоминал ссору с Викой, ее уход из дому и ненависть в глазах дочери, когда она, обернувшись на пороге, сказала: «Ну пока, daddy!» Английское словцо прозвучало как «дядя». За что? Была дочь – и нет!

Да и последний Маринин запой дорого обошелся. Она безобразно чудила, пыталась отравиться горстью антидепрессантов. Таблетки удалось выбить из рук, они раскатились по коврику, жена ползала на коленях, собирая, а он со скандалом отнимал. Когда примчался семейный «нарколог-гинеколог» (доктор сам себя так называл в шутку), Ласская, раздевшись догола, бегала по квартире, тряся жирным телом и мотая огромной вислой грудью. Она с девичьим хохотом увертывалась от нацеленного шприца и воображала себя, вероятно, чертовски пикантной. Догнали, повалили, укололи...

Мучил недавний звонок Корчмарика из Ниццы. Сбежав от прокуратуры, хозяин руководил «Мымрой» с Лазурного берега. В редакции его прозвали «Кошмариком» – за улыбочивую и непредсказуемую свирепость. Он добыл по случаю жуткий компромат на своего давнего врага – могучего кремлевского разводилу Дронова и потребовал, чтобы Скорятин сам написал разоблачу.

– Леонид Данилович, а может, пусть лучше Солов, – уныло предложил главный редактор, – в стихах...

– Никакого Солова. Никаких стихов. Если будет утечка, нам всем пипец! А Солов – пустобол, в фейсбуке все вываливает: и как пожрал, и как поспал, и как трахнулся. Сам накатаешь. Лично. Ты же хорошо сочиняешь. Тряхни стариной!

– А Дронов? – осторожно спросил Скорятин.

– Не бзди, Гена! Ему конец. Дофокусничался, Кио! Мать его...! Мы вобьем последний гвоздь в гроб этого...!

Хозяин выматерился с прилежной изобретательностью интеллигента в третьем поколении. И Гена потряхнул, сочинил, да так сочинил, что сам удивился, перечитывал и розовел от удовольствия: «Даже кремлевские звезды краснеют со стыда, глядя на ваше казнокрадство! Карамзин на вопрос “Что происходит в России?” отвечал кратко: “Воруют...” Но вы свершили то, чего прежде не бывало в многогрешном Отечестве нашем, вы превратили пошлое воровство в мегапроект, в государственную идеологию, в религию. Осталось учредить медаль “За казнокрадство”...»

Несмотря на предупреждение, Гена показал статью самым надежным – Жоре и Володе. Хотелось похвал. От Кошмарика не дождешься, а только: «За что я вам плачу?! Разгону к чертям свинячьим!» Раньше он всегда давал читать написанное Марине, но она стала слишком придирчива в последнее время, наверное, чует измену. Даже во сне у нее подозрительное выражение лица.

Включив ночник, Скорятин раскрыл книгу модного писателя Миши Эпронова, но с первых строк ему сделалось тошно. С ума, что ли, сошли?! Очерк о доярке для «Сельской жизни» в прежние времена лучше писали. Силос какой-то! Он встал, заглянул в холодильник, поел и бродил по большой квартире, вздрагивая от шорохов, скрипов, водопроводных урчаний,

пугаясь нагромождений советского авангарда, выползавшего из рам. Тесть, уезжая в Германию, лучшие картины увез, но кое-что, поплоше, оставил, хотел забрать позже и не успел.

Скорятин, жуя, долго смотрел в окно на заснеженный Сивцев Вражек, плотно уставленный прямоугольными сугробами, в которые за ночь превратились припаркованные автомобили. Вернувшись в спальню и улегшись в широкую супружескую постель, он старался не глядеть на мерно дышавшие тучные останки Марины.

В молодости Гена любил жену без памяти, нетерпеливо вождедел и ревновал к каждому, кто бросал заинтересованный взор на ее стати. Будь он военным при оружии – обязательно пристрелил бы кого-нибудь, посмеявшегося коснуться проникающим взглядом его женщины! А теперь? Теперь такое чувство, что спишь в одном купе с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает...

«Нет, у любви, как и у жизни, должно быть только начало. Конец любви – это даже не смерть. Гораздо хуже!» – бессонно думал он, мучаясь в нервической полудреме и вспоминая молодость, когда каждое пробуждение становилось радостью.

...Они учились вместе в университете и поженились на последнем курсе. С восьмого класса Гена занимался в кружке юных журналистов при доме пионеров, даже получил почетную грамоту как лучший юнкор Бабушкинского района, печатался в многотиражках, даже опубликовал в «Алом парусе» заметку «Здравствуй, лось!» – про сохатого, забредшего в город из лесу. Однажды Фаза после урока тяжело посмотрела на юнкора и сказала: «Останься!» Он похолодел: «Ну какого черта было курить натошак!» Однако речь пошла о другом.

– И как ты с таким немецким на журфак собрался?

– Не знаю.

– А кто знает, Шиллер? Завтра останешься – будем заниматься по два часа. Каждый день. Понял?

– Понял.

И Фаза, растившая без мужа мальчиков-двойняшек, стала ежедневно вбивать в него немецкий язык, как железную сваю в мерзлый грунт. Иногда он делал уроки у нее дома вместе с близнецами, послушными, четкими, как маленькие солдатики вермахта. Отец с матерью, узнав, что сын занимается с репетитором, долго совещались, крутя так и сяк семейный бюджет, и выделили ему двадцать пять рублей в месяц, но когда он принес Фазе в конверте четвертной, она взбесилась и чуть не выгнала его вон.

– Мне не деньги твои нужны! Мне надо, чтобы ты артикли не путал и приставок отделяемых не глотал, думкомпф!

«Проведать Фазу!!! Говорят, совсем ослепла...» – делая пометку в ежедневнике, он вспомнил старушку, которая на прошлогоднем сборе класса натыкалась на рослых, раздобревших своих учеников, угадывая: «Петя? Володя? Леночка?...»

За все лето Гена так и не выбрался на Торфянку искупаться с друзьями, но немецкий сдал на «отлично», хотя гоняли его, как врага народа, даже заставили Гейне наизусть читать. Однако в университет юнкор все равно не поступил: схлопотал тройку за сочинение. Возмущенная директриса школы Анна Марковна, тоже принимавшая участие в его судьбе, помчалась в приемную комиссию, где работала ее подруга. Вернулась расстроенная, сообщила: «Ты ляпнул две ошибки, синтаксическую и стилистическую, а это – твердая четверка». Тройку вкатили из-за небывалого наплыва «блатных»: ректору пришлось выбирать между дочкой известного историка-диссидента и сыном заместителя директора ЦУМа. Победила, конечно, торговля. Но диссидент сбегал в Минобр, пошумел, и дочку взяли на вечернее отделение, чтобы потом тихо перевести на очное.

А Скорятина забрали в армию, в ракетные войска, на Кольский полуостров. Сначала было тяжело, особенно в «учебке», да и потом, в части, нелегко. К изматывающим дежурствам и брюзгливому недовольству офицеров добавлялось дурное всевластие «стариков», гонявших

«салабонов», как крепостных. Особенно лютовал сержант Матрюк, который постоянно всем грозил надавать по ушам и приводил приговор в исполнение, используя для экзекуции колоду засаленных взводных карт. Почему-то он сразу облюбовал Генины уши, торчавшие на стриженной голове подобно двум локаторам на сопке. Было больно и унижительно. Но потом Матрюк спяну задрался с чеченцами из автозвода и попал с переломом основания черепа в госпиталь, откуда его комиссовали. И через год Скорятина, отстегав по заднице ремнем, торжественно перевели в «скворцы», – жить стало лучше и веселее. В части оказалась отличная библиотека, и он много читал, особенно когда стал «стариком» и обрел тот ленивый досуг, какой возможен лишь в последние сто восемьдесят три дня службы на «точке», затерянной в мшистых скалах. Он писал Фазе письма на немецком, она отвечала, указывая ошибки и давая задания. Анна Марковна присылала темы сочинений и экзаменационные вопросы, выведенные у подруги, чтобы он, гордость школы, охраняя родину, мог подготовиться к реваншу. Гена помнил, что в приемную комиссию надо представить свежие публикации, и накатал пару текстов о мужественных буднях Н-ского подразделения, где командиры отечески-требовательны, а солдаты радостно-исполнительны. «Дивизионка» охотно тиснула его заметки под рубрикой «Ратная вахта», которую между собой ракетчики называли «Здравствуй, сказка!». С тех пор по просьбам однопризывников он строчил письма девушкам, томящимся во всех уголках огромного Советского Союза. Содержание было примерно одно и то же:

Вернусь и сразу обниму Тебя, прижав к груди. Жди, не давая никому! А если дашь – не жди!

Офицеры же стали звать писучего ефрейтора «военкором», вкладывая в это слово свое незлобивое презрение к армейской печати.

Ракеты, спрятанные поблизости в бездонной шахте, могли смести пол-Европы, но Скорятин об этом не думал, хотя знал: предполагаемый противник тоже обладает ядерным оружием, способным разнести в пыль Москву вместе с Бабушкинским районом. Атомная война казалась менее реальной, чем замысловатые выдумки Станислава Лема, Айзека Азимова или Роберта Шекли: на гарнизонных полках имелась даже Библиотека мировой фантастики. Бойцы-ракетчики, запершись в каптерке, пили спирт, купленный вскладчину у прапорщика, и пели под гитару, переиначивая советский шлягер:

Летит по небу сорок тонн. Прости нас, город Вашингтон...

Иногда Гена просыпался среди ночи, отгибал край байкового одеяла, служившего шторой, и впускал в казарму немного незаходящего летнего солнца. Он вынимал из-под подушки книгу, открывал страницу, заложенную фоткой одноклассницы, не отвечавшей на письма, и пропадал в чудесном мире чужого воображения. Собрание сочинений Джека Лондона было прочитано дважды с первого до последнего тома. Мартин Иден стал его старшим братом, которому хочется подражать во всем. Лежа на узкой солдатской койке, Скорятин мог часами мечтать о чем-то беспредметно-нежном и бесформенно-грандиозном, в его фантазиях отзывчивая девичья красота переплеталась с земной славой. В реальность бойца возвращал крик дневального: «Взвод, подъем!» Еще он читал фантастику, но вскоре мыслящие вакуумы, влюбленные андромиды, параллельные миры и нуль-транспортировки стали не интересны, как игра в «морской бой» на уроке литературы, когда класс бурно спорит, почему умная и тонкая Наташа Ростова втюхалась в дворянского раздолбая Анатоля Курагина, кинув замечательного Андрея Болконского. Вот тебе и дуб при лунном свете!

Домой Гена вернулся возмужавшим, окрепшим, его лицо, до призыва почти детское, обветрилось и посуровело, а в движениях появилась взрослая уверенность. Если в «учебке» он

извивался на турнике, будто червяк на крючке, то через год уже крутил «солнышко». Пока Скорятин, гордясь своей мохнатой, словно бурка, дембельской шинелью, ехал на поезде в Москву, вся казарменная дурь и бестолочь как-то отшелушились, осталась благодарная тоска по тем временам, когда сердце, бесприютное по природе, стучало в добром согласии с ухающим строевым шагом. Перезимовав, он снова подал документы на журфак и поступил без конкурса, как положено тому, кто отдал долг Родине. Кстати, за сочинение на вольную тему «Мое Заполярье» ему поставили «отлично». Экзаменатор даже потом спросил удивленно:

– Вы написали: «Полярный день – это полярная ночь наоборот»?

– Я.

– Недурственно, очень недурственно! У вас способности. Не промотайте!

Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. Ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться, мечтательно цокая языками. Она играла маленькие роли в студенческом театре, который разместился в университетской церкви Святой Татианы: сцену сколотили как раз на месте алтаря. Услышав от внука про такое безбожество, бабушка Марфуша в ужасе перекрестилась: «Кому храм, а кому срам». Но бедный влюбленный не пропускал ни одного спектакля с участием Ласской, хотел даже записаться в труппу, но режиссер посмотрел на него грустными глазами и покачал головой: не подходишь. А вот Лёшка Данишевский им подошел и прыгал чёртом в «Черевичках». Отец Алексей теперь в пресс-центре Патриархии служит.

При каждой возможности Гена старался сесть на занятиях поближе к Марине, перехватить ее взгляд, подсказать нерасслышанное слово преподавателя, поднять упавшую тетрадку – все бесполезно: они едва здоровались. Он сообразил, в чем дело, и отрастил на висках волосы, как у актера Боярского, чтобы прикрыть свои броские уши. Не помогло. Ласская продолжала смотреть сквозь него в какую-то тайную девичью даль. Тоскуя, Скорятин уходил после занятий на плац возле психфака и перед зеркалами, вспомнив «курс молодого бойца», лупил по асфальту строевым шагом, удивляя редких студентов и пугая ворон, гревшихся возле вентиляционной будки подземки. Отпускало. Иногда с Ренатом Касимовым они отдавались в опытные руки психологов и, получив по рублю за участие в научных экспериментах, покупали вина. Злоупотребляли тут же на плацу, схоронившись за «паровозом» – бесхозным компрессором на колесах. Это еще лучше помогало от безнадежной любви.

Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь называли бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосыгаемую «импорт», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз – Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, сколько бутылок «Киндзмараули» выпили на Пицунде и сколько телок сняли в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, зато заведующий редакцией Миша Танин, будущий банкир, обещал после университета взять в штат. Возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимопомощи, вылетел с работы.

На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило, вроде бы, неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятина для достоверности выдвигал вперед. Наблюдательный Ренат называл такое выражение лица – «Чингачгук перед казнью». Но ни блатняки, ни Ласская ничего не замечали.

Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же – «семерка»

кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина на два месяца пропала. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали – отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в глаз.

Почему Гена решился подойти – объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.

Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена долго прятался за колонной, собираясь с силами. Наконец коротко выдохнул, точно хотел выпить рюмку, подошел к однокурснице и сел рядом. Она чуть отодвинулась, словно не узнала.

– Как дела? – хрипло спросил он.

– Пока не родила.

Скорятин настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась (наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами), но снова нахмурилась и уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже не менее сантиметра.

– А-а тебе... – после неловкого молчания начал студент.

– Нет, мне не скучно, – не дав договорить, ответила она. – Мне никак. Понимаешь, никак.

– Понимаю. Можно куда-нибудь сходить.

– Например?

– Не знаю. Можно – на Лазунова.

– Кто это? Композитор?

– Нет, художник, – он кивнул на длинную очередь в Манеж, хорошо видную с горки.

– Разве он художник?

– А кто же? – снова оторопел Гена.

– Так себе. Ремесленник. – Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал.

– А кто же тогда художник?

– Целков, например.

– Целков? – переспросил Скорятин.

– Ты не знаешь Целкова? – Марина впервые глянула на однокурсника с интересом.

– Не знаю! – ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых, «палёных» джинсов.

Пепел наконец упал на асфальт. Ласская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала:

– Ладно. Пусть будет Лазунов. Пошли, Геннадий, уговорил! – Оказалось, она знала его по имени.

Они перебежали на красный свет запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного однокурсника не в конец очереди, удавом обвивавшей Манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной, во всю стену «Истерией XX века».

– Ну, и как? – с иронией спросила она.

– Напоминает «Гернику», – солидно ответил Гена.

- Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в «Космос».
- Но... стипендия послезавтра...
- Деньги у меня есть, не переживай.

Перед знаменитым кафе на улице Горького томился целый хвост, в основном молодежь, которой было все равно, где бездельничать. Но и тут Марина прошла без очереди, улыбнулась усатому швейцару, как добрая знакомая, и что-то вложила в его осторожную ладонь. Пока торопливо убрали столик, Ласская успела кивнуть нескольким знакомым, а с одним, длинно-волосым, почеломкалась.

- «Огни Москвы», – сказала она снулому официанту. – И без лимонной кислоты.
- Понял! – кивнул тот и ожил, словно услышав долгожданный пароль.

На другой день, к изумлению всего курса, они сели на лекции рядом. Марина принимала неловкие ухаживания с благосклонным недоумением, точно не догадывалась, какую конечную цель преследует Гена, даря цветы, угощая мороженым, осторожно глядя руку в пестрой темноте кинозала и провожая домой. Она жила в Сивцевом Вражке, в старинном доме с эркерами. Но Скорятин, в отличие от других претендентов, ухаживал без всякой надежды, вкушая радость от одного ее присутствия, от приветливого взгляда, от тайной гордости, что с ним ходит такая девушка! Марина, конечно, все понимала, ее неприязнь к мужчинам, невесть откуда взявшаяся, сменилась насмешливым любопытством: ну когда же этот плохо одетый и глупо подстриженный мальчик хоть на что-то решится? Он никогда бы не решился, если бы Ласская, устав ждать, сама не попросила. А было так: они сидели в Нескучном саду и разглядывали чудо-диктофон величиной с пачку сигарет, привезенный ее отцом из Токио.

- А ты знаешь, что еще сто лет назад в Японии никто не целовался?
- Почему? – опешил Скорятин.
- Просто не умели, как и ты... – и она разрешающе улыбнулась.
- Я умею... – глупо ответил он.
- Неужели? Тогда постригись – у тебя такие замечательные уши!

Дальше события развивались стремительно. Через неделю Гена лежал с Мариной в постели, целовал ее большую распавшуюся грудь и трусливой рукой нащупывал скользкий путь к счастью.

- Не бойся, не бойся! – шептала она.
- Тебе же будет больно...
- Не будет.
- А тебе можно?
- Можно, можно, ни о чем не думай...

Но Скорятин думал и боялся. Она была его первой настоящей девушкой после неверной одноклассницы, с которой они, кажется, и сами не поняли, что натворили в ночь после выпуска, перепив шампанского. Девочка испугалась, ей было так больно, что второго шанса Гена не вымолил и ушел в армию. И через два года он нашел ее на сносках. Видимо, новая попытка, совершенная кем-то другим, оказалась удачней. Остальные освоенные им женщины, вроде бы, не считались. Да и было их немного: ядреная лимитчица со стройки в Лосинке, смешливая, пахнущая рыбой работница консервного завода, к которой бегал в самоволку, пьяный случай с дылдой-психологиней по кличке «Вамдамская колонна». Как-то выпало обладание интеллигентной худышкой Норой в Переделкино. Там в бревенчатых теремах скучали на выданье воспитанные потомки великих дедов. Гену туда повез после пивной «Ямы» Ренат, ухаживавший за внучкой генерала Батукова Еленой, невыносимой красавицей. Нора, студентка архитектурного, сначала таращилась и дичилась нетрезвых поползновений Скорятина, но потом, наедине, со стыдливым остервенением набросилась на него, бормоча про торжество животного низа:

- Ты такой сильный, большой! Сделай мне больно!

Ошарашенный студент просьбу дамы выполнил, но решил с ней больше не связываться, однако она все время передавала через Касимова призывные приветы, и он нарушил зарок. Напрасно. Неутолимая Нора впадала всякий раз в полубормочное состояние, горячо допытывалась, зачем с ней это делают, умоляла называть происходящее самыми грубыми словами, а потом и вовсе отключалась. Скорятин прекратил опасные свидания – от греха подальше.

Самой серьезной была связь с Ольгой Николаевной из бюро проверки «Московской правды». Номер подписали поздно, домой было по пути, а бедная женщина, отправив ребенка к матери в Ростов, мстила беглому мужу. К ней Гена ходил долго, искренне удивляясь, почему бросают таких жарких умелиц, превращающих скрипучую кровать в полигон взаимных восторгов. У него даже мелькнула безумная мысль о женитьбе. Но муж, одумавшись, вернулся, и Ольга Николаевна, вздохнув, сказала: «Ты милый, красивый мальчик, но семья – это семья!» «А может иногда... потихоньку?» – взмолился он. «Потихоньку кур крадут!» – рассмеялась она и подарила ему ночь окончательных открытий.

Но Марина Ласская – это совсем другое, это неизъяснимое!

Когда она неожиданно пригласила его к себе, он даже растерялся:

– Какие конфеты любит твоя мама?

– Никакие. Мы будем одни.

Отец Александр Борисович улетел с делегацией Союза художников в Венецию. Мать Вера Семеновна поехала провести родню в Днепропетровск. А дедушка Борис Михайлович, как обычно, сидел на даче в Панкратове и писал свой труд «История атеизма в России». Огромная пятикомнатная квартира в Сивцевом Вражке напоминала музей после закрытия: старинные книги, картины, бронза, натертый дубовый паркет, громкие напольные часы – и никого. Ласская достала из бара с подсветкой «кампары». Скорятин успел заметить там множество бутылок с яркими неведомыми этикетками. Выпили. Она включила музыкальный центр «Сони» с большими черными колонками, поставила «Болеро», и они долго целовались, распаляясь под нарастающее безумие музыки. Потом Марина оттолкнула его, ушла в ванную, пошумела водой и появилась в туго перетянutom белом махровом халате, какие он видел только в зарубежных фильмах. Повинуясь ее кивку, Гена тоже отправился в санузел и чуть не устроил потоп, заинтересовавшись устройством биде, пользоваться которым прежде не доводилось.

Когда он вернулся, она лежала навзничь на кровати, распахнув халат. Он задохнулся от недевического изобилия ее тела и опустил на колени. Марине в самом деле больно не было, наоборот, она застонала и отзывчиво подалась ему навстречу. Когда, тяжело дыша, они распались, Ласская счастливо содрогнулась и шепнула с нежной усталостью:

– А ты лучше, чем я думала...

Гена почему-то вспомнил присказку бабушки Марфуши: «Чем девок пугают, тем баб ублажают», но благоразумно промолчал, потупившись. Странно устроен человек: неделю назад ему достаточно было одного присутствия этой девушки, благосклонного взгляда, а вот теперь он мучился оттого, что в ее жизни уже побывал кто-то, кому она так же отзывчиво подавалась навстречу. Чтобы не обнаружить глупую обиду, не объяснимую словами и не достойную интеллигентного человека, Скорятин уставился на картину, висевшую напротив. Марина, проследив его взгляд, объяснила:

– Целков.

– Ну да, а кто же еще...

– Говорю тебе, Целков. Папа с ним дружит. У нас пять работ. Когда-нибудь они будут стоить миллионы.

– Угу, – кивнул Гена, вглядываясь в мутные, пузатые, зубастые фигуры на полотнах, а сам подумал: «Скорее уж Лазунов будет стоить миллионы! Целков... Смешно!»

– Спроси! Ты же хочешь... – тихо проговорила Ласская, глядя его по влажным волосам. – Спроси! Ты славный. Мне с тобой хорошо...

- О чем?
- О нем. Спроси сейчас. Потом не отвечу.
- Мне не важно.
- Нет, важно, я вижу: ты лежишь и думаешь о нем.
- Может, о них...
- О нем. И запомни: был только он. Я его любила, но он женат. Хотел развестись. Мама сказала: нельзя строить счастье на чужом горе.
- Ты его еще любишь?
- Если бы любила, тебя бы здесь не было.
- Ты из-за него... тогда?
- Из-за него.
- А я не женат.
- Знаю, но, боюсь, ты не понравишься маме.
- Почему?
- Она хочет, чтобы мой муж был похож на ее отца.
- А тот... был похож?
- Был, – вздохнула она и заплакала.

4. Орден рыцарей правды

«Тэк-с, что же делать с этим лесолобом?» – подумал Гена, взяв красный фломастер.

Прав сыктывкарский ворчун: с лесами происходит непоправимое. Вот у них, в Панкратове, раньше сосенки были одна к одной, точно свечечки, ели стояли высокие, уступчатые, как пагоды, а березки светились, что у Куинджи. Травка в роще росла шелковая, ровненькая – просто гольф-поле! Тропинки чистенькие: в бальных туфельках бегать можно. Если какое-то деревце заболело, хирело, сразу приезжали и аккуратно ампутировали. Да, конечно, поселок старых большевиков «Красный луч» был на особом присмотре, но и в других местах при коммунистах Скорятин не видел такой лесной разрухи и гнили. Зачем разогнали лесников, кому они мешали? Мужиков для охраны банков не хватало? На чем сэкономили? На космесе, обороне да на лесах. Теперь спутники падают, танки глохнут в тоннелях, а деревья гниют и валятся. Бурелом вокруг поселка похож на фильм ужасов: просеки заросли, дороги непролазные, забиты лесной падалью, всюду коряги, как окоченевшие спруты, – ни пройти, ни проехать. А грибы – сплошь желтые поганки. Ели стоят лысые, бесхвойные, сожранные жуком, в ветреную погоду огромные стволы рушатся на крыши. Пришлось чинить баню, раздавленную трухлявой громадиной. Срочно надо убирать еще с десятков гигантов, готовых рухнуть на дом, а таджики взяли под себя санитарную рубку и дерут до 30 тысяч за ствол, в зависимости от толщины. У них, в Урюкстане, за такие деньги целый кишлак год кормится. Но ничего не поделаешь, рубить придется, в том числе и старинную березу, ту, что, стуча ветками по стеклу мансарды, пугала юных любовников, приезжавших тайком на дачу, если дедушка отбывал в санаторий или на конференцию по атеизму. Они пили вино, дурачились, бегали по огромному скрипучему дому голые и на ковре, у пылающего камина, сплетались юными бесстыдными телами. Правда, такая удача выпадала не часто, Борис Михайлович неохотно оставлял любимую дачу, а в Сивцев Вражек Марина больше не звала, созналась: донесла бдительная соседка, мать устроила истерику – не хочет новых неприятностей.

– Каких неприятностей?

– Неважно. Мы же договорились: не вспоминать прошлое.

Скорятин начертил красным фломастером в углу письма наискосок: Сунзиловскому. Связаться с автором, подготовить материал для рубрики «Немытая Россия». И поставил свою подпись – обдуманно витиеватую.

...Иногда замужняя подруга давала Марине ключи, они после занятий ехали в Марьину рощу и, озираясь на чужой уют, набрасывались друг на друга. Это была не страсть, а какая-то плотская болезнь, лихоманка, нежное остервенение. Влюбленные, как два химических вещества, по отдельности безобидны, но, оказавшись рядом, взрывоопасны. Они жаждали друг друга всегда и везде, даже сидя рядом на лекции, незаметно (им так казалось) трогали, дразнили друг друга, изнемогая. Весь мир, громоздко суеющийся вокруг, казался лишь хитроумным препятствием к тому, чтобы уединиться, насытиться, извлекая из слияния тел космическое счастье. Пригласить Марину к себе, в окраинную «двушку» с облезлыми обоями, Гена стеснялся. Но выручал однокурсник Ренат. Сирота, он обычно оставался на каникулы в общежитии, один в четырехместной комнате, но по первой же просьбе отбывал как бы в библиотеку, давая приют жадным влюбленным.

Хороший парень! Он был, кстати, членом их тайной студенческой организации. Тогда все зачитывались «Проклятыми королями» Дрюона, купленными по макулатурным талонам, и бредили тамплиерами. Однажды со стипендии Гена, Алик Веркин и Касимов завалились в Домжур, перебрали пива с сухариками и в хмельном озарении учредили «Орден рыцарей истины». Но аббревиатура ОРИ показалась обидной, и они переименовали тайную организа-

цию в ОРП – «Орден рыцарей правды». Алик был против, издевался, мол, все будут думать, что это орден рыцарей газеты «Правда». А он читает только парламентский орган, «Известия». Выпили еще по кружке и поставили на голосование. Веркин оказался в меньшинстве. Дураками были невозможными – мальчишками.

Главной задачей ОРП определили борьбу с лживой советской печатью. Наметили формы сопротивления: писать честно, без вранья, готовить народ к переменам, а со временем занять руководящие посты, чтобы, пользуясь властью, всех осчастливить и отменить цензуру. Как первое соединить со вторым, не подумали, а ведь знали, что недавно шумно сняли с работы «главнюка» одной городской газеты, допустившего на полосе шапку «Не спи у руля!». Накануне четырехзвездочный Брежнев задремал в президиуме пленума, и это увидел по телевизору весь мир. Напрасно бедолага-редактор объяснял, что речь в статье о пьянстве на речном флоте, слушать не стали – сослали в многотиражку.

Завлекали в Орден осторожными разговорами о зияющих высотах, о вашей и нашей свободе, давали почитать что-нибудь запрещенное, вроде «Острова Крыма». Потом обсуждали, собравшись в общаге или на даче у Ленки Батуковой. Слушая разговоры об «империи зла», о ГУЛАГе в одну шестую часть суши, Нора смотрела на Гену так, словно готова была пойти с ним куда угодно – по солженицынским местам. В институте тоже иногда схватывались в спорах о подлом настоящем и честном будущем, но если приближался преподаватель, замолкали или громко рассказывали какой-нибудь вузовский анекдот. Такой, например. Профессор стыдит студента:

– Ну как же, голубчик, вы не помните такой простой полимер. Вы же его часто встречаете в быту. Могу подсказать. Пригласили девушку на свидание и что с ней делаете?

– Ах, эбонит! – сразу вспоминает двоечник.

– Нет, голубчик, целлулоид...

Среди соблазненных оказался и будущий Сун Цзы Ло. Он сидел на тайных сборищах молча, и зевал, показывая лошадиные зубы. Потом исчез. Когда обсуждали в общаге «Метрополь», ходивший по рукам, пришла и Ласская, говорила что-то про Искандера, но в ее глазах был туман той первой, доскорятинской любви. Заглядывали и другие, но тоже особенно не задерживались. Много спорили. Впрочем, откровенные сокрушители попадались редко: в основном, все были за социализм с капиталистическими витринами. ОРП продержался недолго. Кто стукнул и в какой момент – не ясно, возможно следили с самого начала. Когда грянул гром, Гена даже растерялся: ослепленный внезапной Марининой взаимностью, он почти забыл про Орден рыцарей правды, который стал сам собой потихоньку рассасываться. Скорятина вызвал заместитель по воспитательной работе, угрюмый отставник с толстой колодкой наградных планок на синем пиджаке. Лицо у него было в крупных складках, как голенище кирзового сапога. Таким в школьном учебнике рисовали полковника Скалозуба.

– Ну давай, рассказывай, подпольщик! – глядя в Генину переносицу, приказал «Скалозуб».

– О чем? – голосом проснувшегося ребенка уточнил подпольщик.

– Обо всем. Рыцари, мать вашу так!

– Но это же просто игра, шутка...

– Ты лучше в футбол играй или в преферанс, шутник! Могу научить. А в подполье играть не надо. Некоторые доигрались. Хочешь из вуза вылететь?

– Не хочу! – побледнел рыцарь правды.

– Тогда напиши, как все было, и забудем, расстанемся друзьями. Дел без тебя много.

Конференцию по «Целине» надо готовить.

– А если не напишу?

– Отчислим.

– Отчисляйте!

– В ракетных служил?

– Угу.

– Не «угу», а так точно.

– Так точно.

– Как же тебя на «точке» особисты прохлопали? Или ты уже здесь заразу подцепил? Немудрено. Помойка. Хоть нос зажимай. Звали же меня на мехмат. Люди там головой работают. Сиди себе, кроссворды разгадывай. А здесь? Тьфу! Вражья кузня. Но ты-то о чем думал, умник? Куда полез? У Веркина отец – шишка в ТАССе. На черной «Волге» катается. Отмажет сынка. У Касимова справка. А у тебя что?

– Какая справка?

– Из дурдома. После контузии. Он же афганец. Его не тронут, может, пожурят, а ты пойдешь по полной – за антисоветчину. Думаешь, если с этой фифой трешься, помогут? Они ради тебя, дурачка бабушкинского, пальцем не пошевелят. Кстати, мог бы себе в масть девушку найти. Это не твоя электричка, парень! Слушай, Геннадий, может, она тебя и надоумила, эта Ласская? К таким фамилиям близко подходить нельзя. Там семейка-то с душком...

– Она ни при чем! Она ничего не знает. Вы не имеете права!

– Это хорошо, что подружку выгораживаешь. Молоток! Вот и напиши правду. Кувалдой будешь. И она в стороне останется.

– Н-нет.

– Ладно, звоню в контору, – он потянулся к телефону.

– Куда?

– В Комитет государственной безопасности, сопляк!

– Бумагу дайте!

Собственно, тем дело и кончилось. Касимова и Скорятина в последний момент без объяснений вычеркнули из группы, убывавшей по студенческому обмену в Польшу, но Алик все-таки поехал. Про Орден рыцарей правды они больше не вспоминали и с каким-то облегчением раздружились, окончив университет. С Ренатом судьба его еще сводила, и не раз. Незадолго до падения Танкиста он пришел в «Мымру» военным обозревателем, но вскоре его вышиб Шабельский – за отсутствие нового мышления. Касимов перебрался в областную газету «Ленинское знамя», потом служил у Юлиана Семенова в первом частном ежемесячнике «Совершенно секретно», слишком глубоко влез в дело Ивана Кивилиди (которого уморили радиоактивной дрянью в телефонной трубке), раскопал что-то сенсационное и получил пулю из снайперской винтовки, когда утром делал на балконе зарядку. Но выкарабкался, мотался по горячим точкам, потерял ногу в Чечне и теперь издает газету «Отстой», куда Скорятин иной раз сливает тексты, невозможные в «Мымре», но милые сердцу.

Алик Веркин долго вел на телевидении ток-шоу «Честное слово», потом попался на взятках во время предвыборной кампании и теперь бегаёт в пресс-секретарях у олигарха Ахундова. Недавно звонил, просил о духоподъемном интервью со своим боссом: тот нахимичил с оборонным госзаказом. Веркин обещал десять штук баксов в конверте мимо кассы. Значит, с Ахундова слупит двадцатку. Нехилая работенка! Семь надо сдать «генеральше» Заходырке. Эта никогда не поверит, что миллиардера пиарят из чистого информационного бескорыстия. Три тонны можно оставить себе. Тоже неплохо!

...Марина, конечно, знала, что Гену вызывали и чуть не исключили, знала даже из-за чего – сама сидела на сходке рыцарей, потом обозвала всех козлами и больше не появлялась. Скорятин сам ей все рассказал, утаив, конечно, что написал чистосердечное признание, а также согласился захаивать к «Скалозубу» и по дружбе рассказывать, о чем студенчество говорит, спорит, чем дышит, какие мысли думает. А как еще, на самом деле, чуткие старшие товарищи, ответственные за судьбу молодых обалдуев, смогут вовремя прийти на помощь и не дать оступить на всю оставшуюся жизнь?

– Знаешь, почему я тогда согласилась пойти с тобой на Лазунова? – отдыхая у него на плече, однажды спросила Марина.

– Почему?

– Хотела поближе узнать рыцаря правды. Хочешь, я расскажу про все это дяде Мише?

– Дяде Мише? Какому дяде? Зачем?

– Я же тебе о нем говорила! Забыл?

– Вспомнил!

О, дядя Миша был человек преудивительный! Трудясь старшим научным сотрудником в Институте марксизма-ленинизма, что на Волхонке, исследуя связи русских социал-демократов и Второго Интернационала, он много лет вел параллельно тайную жизнь: учил в секретном кружке иврит, ходил, загримировавшись, по праздникам в синагогу, но самое главное – сочинял под псевдонимом «О. Шмерц» статьи про невыносимую жизнь честной интеллигенции за железным занавесом. Какими-то неведомыми путями он переправлял свои жалобы за рубеж, где их публиковали в разных журнальчиках, которые потом такими же странными тропками добирались в СССР, передавались из рук в руки, зачитывались до дыр, даже втихаря копировались на казенных ксероксах, появившихся тогда в учреждениях.

Ходили опасные копии и на журфаке, но между своими, проверенными ребятами. Чаще всего запретное чтение таскал Алик Веркин. Гена и Ренат читали, передавая друг другу странички, не смыкая глаз всю ночь: утром крамолу надо было вернуть. И мозг озарялся страшным открытием: они родились и жили в стране с омерзительным прошлым, отвратительным настоящим и безнадежным будущим. Потом, чистосердечно раскаявшись, Скорятин стал избегать опасного «тамиздата». Но «Скалозуб», напротив, велел брать, читать, докладывать, а по возможности показывать. Однако бывший рыцарь правды врал, что после разоблачения Ордена никто ничего не приносит – боятся. «Скалозуб» кивал и не верил.

– Дядя Миша напишет – и все там узнают, как здесь над людьми издеваются! – мечтательно проговорила Марина.

– Не надо, – ленивым голосом возразил смертельно испуганный Гена.

– Боишься? – Она даже отстранилась.

– Боюсь! Но не за себя. Давай рассуждать логично. Смотри: выходит там статья. В конторе, конечно, сразу ее прочтут, вычислят, откуда у О. Шмерца сведения. Отследят контакты – мои, касимовские и аликовы. О том, что мы с тобой... дружим, знают все, даже «Скалозуб». Ежу понятно: от любимых девушек такую информацию не скрывают...

– Стоп. А я любимая, да?

– А то не знаешь!

– Знаю, но лишний раз напомнить не мешает. Женщины любят и ушами тоже. – Она снова положила голову ему на плечо.

– Возьмут в разработку твои контакты, выйдут на дядю Мишу и придут в Институт марксизма-ленинизма с наручниками. Поняла?

– Откуда ты так хорошо в этом разбираешься?

– От верблюда. Ты сколько раз «Семнадцать мгновений» смотрела?

– Раза два...

– А я – раз двадцать! Это же не про них кино, а про нас.

– Какой же ты у меня умный, это что-то! Ты спас дядю Мишу. И сейчас у тебя будет восемнадцатое мгновение весны!

Гена сладостно убедился, что выражение «женщина любит ушами» – лишь деликатное иносказание, имеющее мало общего с разносторонней телесной явью. А вскоре, на последней паре, Марина вынула из сумочки и показала знакомый брелок в форме сердечка с ключами от счастья в Марьиной Роще.

– Тебе ж сегодня нельзя! – Он к тому времени научился высчитывать опасные и запретные дни ее тела, чем был горд.

– Теперь все можно.

– Ты?! – догадался Гена в испуге. – Уверена?

– Сначала сама не поняла. А теперь уже точно.

– И что мы будем делать?

– То, что делали. Или тебе надоело?

– Мне? Ты что! – Он под столом сжал ее колено.

– А месяца через два познакомлю тебя с родителями.

– Почему через два?

– По кочану!

– Скорятин, – скрипучим голосом позвал преподаватель. – Не забудьте: зачет вы будете сдавать мне, а не Ласской!

Доцент ошибся. Экзамен Гена держал перед Верой Семеновной. За воскресным обедом ели фаршированную щуку с кузнецовского фарфора, пили из антикварных бокалов восхитительное рейнское вино. Серебряные приборы с чужими кудрявыми гербами оказались настолько тяжелыми, что неопытный жених, привыкший к легким железным вилкам дома и легчайшим алюминиевым в столовых, едва не уронил полукилограммовый нож на тарелку с узором из полевых цветов. Не подхвати он антикварную тяжесть второй рукой, его семейная жизнь могла закончиться, не начавшись.

Заметив неловкость гостя, родители переглянулись, как обычно перемигиваются врачи, сойдясь на диагнозе: неизлечим. Марина обидчиво поджала губы. Сглаживая неловкость, Александр Борисович рассказал, как в Нью-Йорке говорил с великим Энди Уорхолом, а в Париже съел три дюжины устриц – и заболел. На десять минут из дальней комнаты вывезли в коляске Бориса Михайловича. Он тяпнул рюмочку водки, зарозовел и поведал, как в 1919-м под Витебском ему, атеисту, спас жизнь свиток Торы, подобранной в разоренной синагоге: сабля польского гусара застряла в кожаном футляре. Потом дедушка запел потихоньку «С неба полуденного жара – не подступи, конница Буденного раскинулась в степи...», и его увезли. Вера Семеновна, весь обед внимательно наблюдая за Генкой, тонко улыбалась и задавала неожиданные вопросы: какие, например, ему нравятся поэты.

– Евтушенко.

– А Самойлов?

– Тоже ничего.

Супруги Ласские снова переглядывались и с насмешкой смотрели на дочь, которая горячо доказывала, что Самойлов – поэт, конечно, хороший, но слишком литературный, а вот у Евтушенко, хоть и пишет неровно, есть русская корневая стихия! Все-таки сибиряк...

– Да-да, разумеется, – подтвердил Александр Борисович с усмешкой. – Он из рода сибирских Гангнусов.

Бедный жених ничего не понял в этом споре. Потом пили кофе с арманьяком, крутя на «видике» «Манхэттен» Вуди Аллена. «Предки» уже смотрели фильм на закрытом показе в ЦДРИ и оставили «молодежь» наедине. Гена попытался обнять Марину, но она лишь недовольно повела плечами, показав глазами на дверь. Скорятину почудилось, что ей немного стыдно за свой выбор, и, случись смотрины на несколько недель раньше, возможно, он бы убыл в Лосинку отвергнутым. В середине фильма Гена вынужденно отлучился и, проходя по коридору, уставленному книгами, услышал в приоткрытую дверь такой разговор:

– Забавный паренек, – это был голос Веры Семеновны.

– Ничего забавного, – сердито отвечал Александр Борисович. – Марина совершает ошибку.

– Ты можешь ее исправить?

- Надо объяснить. Она умная девочка.
- Объясни!
- Лучше ты. Мать всегда ближе к дочери.
- Один раз я уже объяснила и чуть не потеряла дочь. В ее возрасте этого еще не понимают.

Свое и чужое начинают различать позже.

- Что ты предлагаешь?
- Пусть лучше он, чем снова больница. А внуки – чем раньше, тем лучше.
- Неужели так серьезно?
- Серьезнее, чем ты думаешь. Она нарочно скрывала, чтобы...
- Он будет жить с нами и мыться в моей ванной?
- Продадим Левитана и купим Марине кооператив.
- Нет, Левитана я не продам. Лучше – Кустодиева.

Оскорбленный жених хотел тихо улизнуть, чтобы никогда больше не приходить в этот дом, но все-таки вернулся в гостиную, досмотрел фильм, где уродцу Вуди Аллену, как обычно, досталась самая лучшая девушка, потом они перешли к Марине, и она под большим секретом показала свежий номер «Континента» с очередной ябедой О. Шмерца. Гена равнодушно повертел в руках запретную книжицу и вдруг навалился на невесту с такой яростью, что та в испуге не сопротивлялась, а лишь, оцепенев, шептала: «Тише! Войдут! Скорей! Я не буду. Скорей же!» Когда она оправляла одежду, Скорятин спросил равнодушно:

- Кажется, я не понравился твоим родителям?
- Главное, что ты нравишься мне... – вздохнула Ласская.

В Грибоедовский дворец бракосочетания другие записывались за три месяца да еще ходили отмечаться. Но Гену и Марину расписали сразу, как только был утвержден перечень гостей, заказан ресторан «Прага» и невесте в ателье ГУМа сшили белое платье, свободное, вроде пеплума, чтобы не выпирал живот. Тесть знал грибоедовскую директрису, недавно он по смешной цене устроил ей монументальный триптих народного художника Семена Стрешнева «Нас венчали не в церкви». Фамилию Марина оставила свою, не посоветовавшись с Геной.

Свадьба была грандиозная! Играл джаз великого Ветлина. Пела, змеясь в чешуйчатом концертном платье, несравненная Ида Ржевская. Карикатурист Шагин делал молниеносные шаржи и дарил окружающим. Гости подобрались солидные, изнурительно вежливые и приторно восхищались дивной молодой парой, тайком обмениваясь бархатными взорами, полными недоумения и сочувствия к пополневшей невесте. Немногочисленная родня жениха напоминала заводчан, которых профком снабдил бесплатными билетами в Большой театр – на четвертый ярус. Павел Трофимович хватил лишку, произнес путанный тост да еще, к всеобщему ужасу, по-родственному полез целоваться к Вере Семеновне. Мать потом не разговаривала с ним месяц.

5. Сообщающиеся сосуды

Скорятин набрал номер Алисы. «Абонент недоступен». Странно. Очень странно! Она всегда отзывается. Если занята, отвечает быстро и нежно: «Ушастик, не могу говорить. Давай через полчаса. Только обязательно, а то я умру...»

Пожав плечами, Гена взял следующее читательское письмо. Оно смахивало на тропическую птицу: цветными маркерами были подчеркнуты слова, казавшиеся автору особо важными, – верный признак шизы. Так и есть: неведомый псих, укрывшись под псевдонимом «Заботник», излагал собственную уникальную методику контактов с Мировым Разумом с помощью морошковой диеты, умеренного употребления мочи (неприменно натошак) и ритмического дыхания по Бутейко. Мало того, он обещал при личной встрече открыть главному редактору глаза на заговор темных сил против человечества.

Как писал незабвенный Веня Шаронов:

Созидательным трудом
Мы прославим наш дурдом!

В начале 90-х Гена раскопал дикие цифры: каждый третий депутат нового демократического Моссовета состоял на психучете. Шабельский пробежал печальными глазами убийный фельетон «Палата № 13» (Моссовет заседал тогда на улице Горького, 13), посмотрел на смельчака с левантийской тоской и молвил:

– Да, революцию делают сумасшедшие. Но об этом ты напишешь лет через двадцать. Договорились? – и спрятал статью в сейф.

– А если я отнесу в «Правду»?

– И на работу к ним переходи. Могу даже рекомендацию дать, рыцарь «Правды»!

– Вы о чем?

Исидор бережно достал из сейфа папку с грифом «МГУ им. Ломоносова». У спецкора на сердце выступили мурашки. Шабельский неторопливо развязал тесемочки и двумя пальцами, точно брезгуя, вынул знакомые листки. Да, это было его, Генино, чистосердечное признание.

– Откуда?! – прошелестел он пересохшими губами.

– Один дедок принес. Предложил. Недорого. Инфляция, пенсия – пять долларов. Я купил за пятьдесят. Да ты не тоскуй! Все мы совершали ошибки или шли на компромисс, чтобы выжить. Не горюй, я бы на твоём месте лучше во Францию слетал. Просят от нас человечка в делегацию. Только умоляю, много не пей: в прошлый раз наши депутаты весь Версаль заблевали. А папочку я тебе подарю, когда заслужишь.

...Тренькнул мобильник. Скорятин открыл эсэмэску от дочери. Как обычно, одно слово: «Деньги!». Он ответил: «Завтра». Так они общались год и не виделись столько же. Вика еще совсем недавно была папиной звездочкой, преданной и доверчивой. Марина в трудных воспитательных случаях просила с раздражением: «Скажи своей дочери!» Он говорил, и Вика покорялась. А потом все пошло наперекосяк. В какой момент? Возможно, когда дал ей пощечину: она без спросу уехала с друзьями на ночную рыбалку. Пришлось обзванивать больницы с моргами. Но Вика сама попросила прощения. Вскоре жена нашла в ее рюкзаке травку. Марина после операции стала страшно ревливой, шарилась по карманам мужа, а заодно и дочери, иногда кое-что находила и скандалила как на Привозе. Странно для девушки, выросшей в интеллигентной семье и любившей вслед за остряком-папой повторять: «С помощью измены убеждаешься в правильности выбора».

Вика поклялась никогда впредь не баловаться дурью, и они втроем поехали в Черногорию, к морю. Гена на солнечном отдыхе вдруг ощутил давно забытое влечение к жене, и дочь, жившая в соседнем номере, по утрам с удивленным поощрением поглядывала на неюных родителей, особенно на мать, оглашавшую густую южную ночь стонами нечаянной женской радости. В Будве они присмотрели продававшийся по случаю домишко на второй линии от моря и внесли залог, который так потом и пропал. Кажется, семейная жизнь наладилась и вступила в тот конечный период, когда взаимные обиды, обоюдные измены, сезонные охлаждения и возгорания выглядят пустяками и возмущают сердце меньше, чем не выключенный в туалете свет или не убранная со стола тарелка с засохшей подливой.

Однако пустяковый романчик со студенткой-стажеркой Жанной показал: все это не так. У девушки были голубые невинные глаза, детские пухлые губы, голосок пионерки и опыт панельной сверхсрочницы. Попался Гена на ерунде – забыл удалить из телефона пикантный снимок. Юная подружка сделала в салоне «Венерин бугорок» модную интимную стрижку и отправила любовнику на мобилу фото – похвасталась. Черт бы драл эти чудеса техники! Бдительная Марина нашла снимки и взбесилась. Сколько же погибло антикварного стекла, копимого сначала Борисом Михайловичем, а потом Александром Борисовичем! Жена после черногорского ренессанса восприняла пустячную измену как катастрофу, но, устав от буйного гнева, впала в расслабленное отчаянье с тихими, похожими на писк рыданиями. Вика, нежно ухаживая за матерью, слегшей в оскорбленной немочи, с отцом не разговаривала, только взглядывала с презрительностью, мол, взрослый мальчик, а половой вопрос по-тихому решить не умеешь.

Марина вообразила, что умирает, и захотела увидеть сына. Однако Борис прилететь не смог: случилось обострение интифады, и его призвали как резервиста. Скорятину, отпрыску русских пахарей, порой становилось дико и смешно от мысли, что его первенец живет теперь у Мертвого моря, носит трудно выговариваемое имя Барух бен Исраэль и воюет с арабами за клочок обетованной земли величиной с колхозный пустырь. Как, в какой момент Борька стал буйным иудеем, страдающим за каждую пядь Голанских высот, словно это его собственная кожа? Постарался проклятый ябедник О. Шмерц. Сын обожал дядю Мишу, таскался за ним собачонкой и, раскрыв рот, слушал ветхозаветные сказки. В педагогических талантах родственничку не откажешь. Он увлек мальчишку ивритом, объяснив, что это будет их тайный язык, вроде пляшущих человечков, и они смогут говорить о самых секретных вещах, не боясь посторонних ушей. Когда Борька усомнился, что с помощью веревки и камня можно укокошить гиганта Голиафа, дядя Миша смастерил настоящую пращу, уводил племянника в глухой угол дачного участка, и там они, раскрутив, метали окатыши в ржавое ведро, пока не пробили в нем дыру, как вероломный Давид во лбу доверчивого филистимлянина. В начале 1990-х дядя Миша отбыл на историческую родину. Борька скучал, писал ему письма, ездил в гости на каникулы, а окончив школу, остался там насовсем, даже с родителями не посоветовался. Теперь дядя Миша – шумный деятель партии «Наш дом – Израиль», член Кнессета, а Борька закончил университет в Хайфе и служит в туристической фирме, время от времени ездит на войну чуть ли не рейсовым автобусом, как сам Геннадий Павлович в студенческие годы ездил из университета домой, в Лосинку.

А вот Марина в сорок лет крестилась и таскается в храм к заутрене, как раньше бегала на спектакли горластой Таганки. Постится, исповедуется, молится на ночь и перед едой. Скорятин советует ей читать «Отче наш» и перед первым стаканом виски со льдом, но жена в ответ лишь сверкает глазами: «Не богохульствуй!» Собравшись помирать, она, конечно, призвала духовника отца Марка, больше похожего на саддукея, чем на православного батюшку. Поговаривают, в Московской епархии половина попов – выкресты. Бабушка Марфуша как в воду глядела: «Абрашке выкреститься что выкраситься».

Вместо Бориса, занятого войной с арабами, вызвали из Берлина Веру Семеновну. Совсем дряхлая, она шаркала по квартире, охала, проклинала евроремонт, стерший милые старомод-

ные черты, и повторяла: «Гена, Гена, что ты наделал!» Муж бросил ее, едва они в 1992-м перебрались в Германию, получив невероятные льготы как жертвы коммунистического режима: в 1984-м Александра Борисовича погнали из партии и Художественного фонда за валютный шахер-махер. Хорошо не докопались, что эти самые франки, смешные по нынешним временам, он получил за пейзажик раннего Бурлюка, тайком вывезенный из страны. Тогда бы точно посадили и судьба его могла сложиться куда веселее. Сидельцы после 1991-го вошли в большую силу.

В Берлине тесть обосновался широко, купил дом, завел галерею недалеко от универмага KaDeWe и вдруг влюбился в молодую польку Ядвигу, работавшую у него уборщицей. Влюбился и влюбился, дело-то житейское: седина в бороду – бес в пещеристое тело. Но он, ломая все свои жизненные принципы, развелся, причем очень умело: и дом, и галерея, и коллекция остались за ним. В строгом немецком суде тесть предъявил свидетельство о расторжении брака, еще советское, двухлетней давности. Как это ему удалось – неведомо.

Впрочем, увез он не всю коллекцию, а только ту часть, на какую получил гербовое разрешение заместителя министра культуры Эдьки Велесова. В конце 1970-х тот попался на перепродаже краденых икон и три года грелся на мордовском солнцепеке. В 1990-е лучшей характеристики для назначения на высокий пост не было. Человек умелый, Велесов посоветовал вывезти коллекцию по частям. Но тут его выгнали из Минкульту за дикую даже по тем лихим временам махинацию. Под видом специальной комиссии, озабоченной описью старинных икон и церковной утвари в фондах музеев, он посылал в разные концы Отечества бригаду преступных умельцев: те выковыривали из киотов, окладов, оправ и переплетов драгоценные камни, заменяя их цветными стекляшками.

Воровство открылось случайно: перед встречей на высшем уровне решили вернуть дружественной натовской державе реликвию, вывезенную как трофей в 1945-м, – средневековые хроники с чудными миниатюрами. Переплет из позолоченного серебра с рубинами считался шедевром ювелирного искусства. Хроники вернули с помпой, покрасовались в эфире, однако новые стратегические партнеры вскоре прислали странное письмо, где благодарили за широкий жест, но выражали дипломатическую надежду на то, что русское великодушие распространится не только на пергаменты, но и на рубины, украшавшие прежде переплет. Грянул международный скандал. Сколько велесовская банда наковыряла камешков, неизвестно, но, видимо, много, если никого не посадили, дело закрыли, а всех фигурантов отпустили с богом за границу. Зарубежным друзьям в виде «иншульдигена» выдали бременский резной алтарь, который считался утраченным под бомбежкой.

Удивительно, но этот богатейший скандал прошел мимо прессы. Став главным редактором, Скорятин решил вернуться к теме и подготовил большую статью «Потрошители икон». Однако Кошмарик остановил тираж и так орал на своего выдвиженца, что Гена мысленно простился с креслом, занятым месяц назад. Оказалось, хозяин сам отоваривался у «потрошителей» самоцветами. В тот раз обошлось, но босс велел с тех пор согласовывать каждый маломальски острый материал. В общем, из-за падения Велесова зубастые пузаны Целкова и бородатые пионеры Илюши Кабакова так и остались в Сивцевом Вражке.

Уход Александра Борисовича от Веры Семеновны после тридцати лет совместной жизни потряс родню и прежде всего Скорятина. Именно тесть, проведая о первых шашнях зятя, вызвал его в кабинет, увешанный авангардом, и прочитал лекцию о том, что мужские шалости и брак – сосуды не только не сообщающиеся, но существующие как бы в параллельных мирах. «Любовница для страсти, жена для старости!» – учил он. Оказалось, сосуды эти очень даже сообщаются. Марина, узнав о выходке отца, сказала: «Папа сошел с ума!» – и прервала с ним всякое общение. Даже хоронить не полетела. Тесть умер от обширного инфаркта, не прожив с новой женой трех лет, но успев родить сына Тадеуша. Полька оказалась слишком молодой и требовательной для престарелого коллекционера. Картины и антиквариат, включая семей-

ную реликвию – свиток Торы, спасший Бориса Захаровича от сабли летучего гусара, достались пани Ядвиге Ласской, в девичестве носившей смешную фамилию Халява. Нет, судьба не слепа: у нее хитрый прищуренный глаз карикатуриста.

Вика пошла в мать: такая же мстительная и злопамятная. Но тогда снова удалось помириться и с женой, и с дочерью. Марина встала с одра. Теща улетела. Про художественно стриженный лобок Жанны забыли. Точнее, сделали вид, будто забыли. Гена поклялся никогда больше с ней не встречаться и слово сдержал: они переспали еще три раза, а на прощанье он дал ей денег на аборт, скорее всего, вымышленный. Но главное – Скорятин купил жене к 8 марта шубу, а Вике – вожеленный мотоцикл.

Шуба образовалась случайно. Он возвращался из «Агенпопа» – «Роспечати». На собрании Дронов учил главных редакторов быть государственниками-патриотами, не изменяя общечеловеческим ценностям. То же самое, как сбегать в бордель и остаться верным супружескому долгу. Войдя в здание, Гена с негодованием обнаружил, что оба лифта не работают. В былые годы «Мымра» привольно обитала в особнячке рядом с Зубовской площадью. К обширному как теннисный корт кабинету главного редактора примыкала комната отдыха, а точнее, апартаменты с душем: не хочешь, а согрешишь на раскладном диванчике. Понимали коммуны, что печать – большая сила, поэтому ценили и наделяли. А вот Кошмарик, едва купив «Мир и мы» (точнее, получив газету за долги от разорившегося дружка), сразу перевез редакцию в помещение попроще, потесней и подальше от центра – на Преображенку. В особнячке он открыл головной офис своего банка «Щедрость». С тех пор их дважды переселяли, пока не загнали сюда, к самой Окружной, под дым Битцевской ТЭЦ. Марина как-то показала мужу воду, в которой замочила его офисные сорочки, – черная.

– Как ты этим дышишь?

– Носом.

Пятый год они арендуют этаж в административном корпусе обанкроченного гиганта «Энергосила». Над ними сидит фирма «Азбука жилья». По журналюжьей привычке все окламбуривать верхних соседей называют «Азбукой жулья». На других этажах торгуют китайским тряпьем, индийскими специями, чаем, пищевыми добавками, ортопедической обувью, левыми программами и мехами. Есть даже магазин для взрослых «Секрет Казановы», куда Гена наведывается. Заодно всюду предлагают тайский массаж и целебное окуривание. По неведомым вентиляционным ходам в кабинет иногда проникают ядовито-сладкие запахи, и кажется, будто в редакции отпели покойника.

Плюнув на неподвижные лифты, тучный Гена, изнуренный постоянными приемами с фуршетом, медленно поднимался по лестнице, останавливаясь и переводя дух. Старость не радость. На третьем этаже, где в кабинеты бывшего заводоуправления втиснулись десятки магазинчиков, ему бросилось в глаза объявление: «Шубы – даром! Весенняя распродажа!!!» Дверь открылась, и вышел мужичок с большим пухлым свертком. Его весело провожала рыжеволосая женщина в беличьей безрукавке.

– Вашей жене обязательно понравится! Не сомневайтесь.

– А если размер не подойдет?

– Не волнуйтесь – обменяем. У нас серьезная фирма. Прямые поставки.

Покупатель зашагал вниз по лестнице, а продавщица, заметив Гену (он как раз остановился отдышаться), спросила с профессиональной свежестью:

– Тоже мехом интересуетесь, молодой человек?

– Нет. Просто лифт не работает...

Он посмотрел на нее внимательнее и улыбнулся: волосы она собрала в два пучка, стянутые цветными резинками, и в своей рыжей дохе сама напоминала белочку, весьма миловидную, лет тридцати пяти. Странно, что они не встречались прежде, например в лифте. Впрочем, здание огромное, сотни, если не тысячи людей снуют туда-сюда: сотрудники, покупатели,

клиенты, посетители... К тому же редакция начинала работать поздно – творческую личность рано на службу не загонишь. Сам Скорятин, если не уезжал по представительской надобности в центр, часто засиживался допоздна, когда магазины и офисы уже закрывались: возвращаться домой к нетрезвой и буйной жене не хотелось.

Продавщица поняла улыбку хорошо одетого мужчины по-своему:

– Напрасно не интересуетесь. Скидки нереальные. Только до восьмого марта. Вы женаты?

– А как же!

– Тем более! Если в доме новый мех – значит, в доме женский смех.

– Сами придумали?

– Да. Плохо?

– Нет. Как раз неплохо.

– Зайдите! Вас же никто не заставит купить. Просто посмотрите! Чаю или кофе хотите?

– Растворимый?

– Обижаете! Как вас, простите, зовут?

– Геннадий Павлович.

– Очень приятно! Меня – Алиса. Прошу!

И он зашел. За дверью оказалось довольно большое помещение, видимо, прежде там располагался целый отдел вроде планового. Все пространство от пола до потолка было забито шубами, манто, палантинами, шапками, муфтами, жилетками, дубленками, угами и даже просто лисьими шкурками, висевшими гроздьями, как рыба на кукане. Попадая в меховые салоны, Скорятин испытывал странное чувство: с одной стороны, жалел ставших верхней одеждой несчастных зверушек, убитых и ободранных. С другой – в душе появлялось жестокое торжество, которое осталось в генах с тех далеких времен, когда первобытный охотник, говоривший междометиями, тащил, ликуя, в родную пещеру волосатую, теплую звериную тушу. А у входа ждала подруга (или стая подруг), визжа от восторга: теперь-то наконец будет сытно и тепло.

– Ы-б-а-у! – мычал охотник.

– Вау! – ликовали дамы.

Пока Гена озибался, продавщица приготовила отличный арабик: на тумбочке рядом с диваном стоял серебристый автомат «Голд кап». Точно такой же имелся в редакции, но Ольге кофе редко удавался. Торговкой Алиса оказалась виртуозной. Как волшебница она распахивала одно искрящееся чудо за другим, объясняя сравнительные достоинства итальянских и греческих изделий, тут же на большом калькуляторе выщелкивала немалую цену и сразу уполовинивала. Фирма слово держит: скидки чумовые. Попутно она рассказывала, что на Руси шубы носили мехом внутрь, их не шили, а «строили», ибо, как и дом, «мягкую рухлядь» заводили на всю жизнь. А про бедных невест говаривали с усмешкой, мол, у них из приданого – один шубный лоскут, да и то свой, богоданный.

– Как вы сказали?

– Шубный лоскут, – повторила Алиса и бросила на покупателя тот особый женский взгляд, который одновременно обещает всё и ничего.

– Вы что заканчивали? – смутился Скорятин.

– Смоленский пед.

Уточнив размер и рост жены, она покачала головой, ненадолго ушла и вернулась с широкотелой буфетчицей, обладавшей теми же габаритами, что и Марина. Облекая толстуху в очередную шубу, Алиса смотрела на Геннадия Павловича с лучистым предвкушением, словно ждала от него настоящего поступка и дождалась. После ее вдохновенной услужливости не купить шубу означало позорно подтвердить, что все мужики – и ты в том числе – жлобы и скупердяи.

– Да вроде у супруги есть шуба-то. Три... – сделал он неуверенную попытку уклониться.

– У настоящей женщины должна быть шубная «неделька».

– Это как?

– Как трусики. Каждый день – новые, – объяснила продавщица, загадочно улыбнувшись.

Такого аргумента Гена не выдержал и взял греческую серебристую норку с капюшоном. Правда, несмотря на сверхскидку, шуба досталась совсем не даром, пришлось вынуть из сейфа заначку и занять денег в бухгалтерии.

– Если не подойдет, поменяем, – провожая, щебетала Алиса. – У нас серьезная фирма. Прямые поставки...

И вручила ему бонус – маленького снеговика, сшитого из обрезков белого песка. Вместо морковки торчал рыжий замшевый лоскут, а глазами служили две жилетные пуговицы. Марина жест мужа оценила, хотя шуба ей не понравилась: мездра была растянута, поэтому подпушка оказалась рыхлой, а ость – редкой. Ласская даже предлагала вернуть обновку в магазин, но Скорятин, вообразив отчаянье в голубых глазах хлопотливой Алисы, наотрез отказался и пообещал выбросить покупку или отдать бомжихе, обитавшей в котельной. Жена смирилась и носит, как миленькая, правда, надевает в основном на рынок или в поликлинику.

Гена несколько раз порывался заглянуть к рыжей продавщице, но сначала улетел на семинар в Бельгию, где журналистов из проблемных стран учили не сгибаться под пятой власти, потом готовил весенний «Марш миллионов». Кошмарик трезвонил из Ниццы, требуя убойных материалов в каждом номере: народ надо разозлить. А потом у Марины снова был запой. И только в мае, тяпнув на корпоративе, он спустился в «Меховой рай», по-студенчески прихватив с собой початую бутылку шампанского.

– Ну как, Геннадий Павлович, понравилась жене шуба? – не удивляясь его приходу, весело спросила Алиса.

– Безумно! Вот зашел обмыть. Извините, что с опозданием!

– Обмыть? Почему бы и нет! – улыбнулась она, посмотрев на хмельного гостя лучистыми глазами, обещавшими сразу всё и ничего.

С этого и началось...

6. Ниночка

Скорятин вздохнул и начертал по старой привычке на шизофреническом письме «В архив!», хотя никакого архива давно у них не было. Письма, почти не читая, складывали в мешки, которые раз в месяц бесплатно увозила фирма «Бумсервис», обслуживавшая здание. Но генеральной директорше Заходырке хотелось заработать и на этом, она потребовала за свою макулатуру денег, но ее послали на три буквы. Теперь почту и другие бумажные отходы относили маленькими партиями, чтобы не злить жильцов хрущевок, на ближние помойки.

Снова тренькнул мобильник. Дочь написала: «Оч. нужно сегодня! (((».

Отец засопел и ответил: «Хор. Будь дома».

...Настоящий разрыв начался с того, что Скорятин запретил Вике выходить замуж за немытого байкера Вольфа. Этот татуированный кабан являлся к ним в кожанке-косухе, стильно разодранных джинсах, бандане с черепами и без спросу лез в бар, где как в музее хранились на особый случай экзотические бутылки, привезенные тестем из советских командировок. Даже Марина, запивая, их не трогала, посылала в магазин консержку. Накачавшись, дочь запиралась с Вольфом, которого на самом деле звали Вадиком, в своей комнате, и они беззастенчиво шумели, гоготали, будто предавались не любви, а какой-то азартной и очень смешной игре. Гена вспоминал округлившиеся от ужаса глаза юной Марины, ее умоляющий шепот: «Тише! Войдут! Скорее!» – и качал головой: о времена, о нравы! Вскоре бар опустел как декабрьский скворечник, а веселье продолжалось. Впрочем, поначалу в этом не было ничего страшного: Вика влюблялась и разлюблялась по-скорому, не уследишь. «Твоя порода!» – усмехалась жена, помнившая все его измены, будто футбольный фанат финальные пенальти. Гене было проще: он знал только об одной ее неверности – но какой!

Байкеру не повезло: по первому снежку его вынесло на встречную полосу прямо под колеса «КамАЗа». Хоронили парня в закрытом гробу, и один дурак из «ночных волков» на поминках ляпнул безутешной Вике, что это было самоубийство из-за ее отказа. Впечатлительную девчонку замкнуло. Теперь она живет в их кооперативной квартире (раньше сдавали за хорошие деньги) с подругой, взрослой теткой-мотоциклисткой. Дай бог, если просто дружба! С матерью Вика встречается на нейтральной территории – в кафе или метро. Отца зовет только «он» или «этот», а когда Скорятин подходит к городскому телефону, вешает трубку, общаясь с ним эсэмэсками и только по поводу денег. Марина к этому относится со скорбным торжеством, печет-возит блудной дочери пирожки-котлетки. Гена пытался объясниться с женой, договориться о совместных действиях по возвращению Вики домой, но она ответила:

– Мне никто не запрещал выходить замуж, хотя родители были от тебя не в восторге.

– Значит, виноват я?

– Ты! Дочерью надо было заниматься, а не стриженными лобками!

– Молчала бы!

– Ага, помнишь все-таки... И будешь до смерти помнить!

– Пьянь! – он вырвал из ее рук ополовиненную бутылку «Мартини».

После ухода дочери Марина, и прежде-то злоупотреблявшая, буквально сорвалась с резьбы – дело шло к неряшливому старушечьему алкоголизму.

– Да, я пьянь, но не стукачка! – заорала она, срываясь на визг.

О рогах, наставленных ему Шабельским, Скорятин не забывал никогда, но вспоминал об этом давно уже без багровых приливов ненависти, скорее, с философской безразличностью. А вот когда выяснилось, что сволочь Исидор растрепал Ласской о его «чистосердечном признании», Гена взбесился и снова задумался о перемене семейной участи. Тут как раз и возникла Алиса.

Главный редактор открыл сейф, стоявший сбоку от стола, вынул пачку денег, отсчитал тридцать тысяч, поколебавшись, удвоил сумму, но, подумав, отнял две рыжие пятитысячные. Гена втиснул купюры в маленький конверт, тщательно заклеил, всунул в большой фирменный редакционный пакет и залепил скотчем. Затем вывел придуманный адрес, приписав внизу: «Интервью на визу». Сволочь Заходьрка следила за тем, чтобы сотрудники, даже главный редактор, не гоняли курьера по своим надобностям. Закончив приготовления, он нажал кнопку селектора – и снова безответно.

– Да что же это такое, ёкарный бабай!

Скорятин резко встал и, переждав головокружение, сурово двинулся в приемную. Пусто. «Убыю!»

Секретарша говорила в коридоре по мобильнику, прикрывая ладошкой трубку, хотя вокруг никого не было. После десяти лет бездетного брака она переживала свой первый роман, и на ее красивом глуповатом личике проступило выражение порочной тайны.

– Всё! Не могу больше! Люблю! – сказала она и спрятала телефон за спину, словно шеф мог отобрать.

– Ну, в чем дело?!

– Он готов развестись с женой! – счастливо доложила Ольга, державшая редакцию в курсе своей сердечной тайны.

– А ты готова?

– Не знаю. Ничего уже не знаю...

– Тогда не торопись. Отправь это с Колей моей дочери. Срочно! – Гена отдал ей пакет с деньгами. – На адрес пусть не смотрит. Он знает, куда. И, пожалуйста, сделай мне кофе!

– Сейчас-сейчас! – заторопилась она, оставаясь душой и телом где-то там, в сладком мороке запретных радостей.

Через несколько минут секретарша вошла в кабинет, неся в одной руке чашечку с коричневой пенкой, а в другой – несколько писем.

– Вот еще почта!

– Хорошо. И пусть зайдет Солов.

– Непесоцкий давно к вам просится.

– Потом. Ступай! Мужу пока ничего говори.

– Почему?

– Потому что женщина верна, пока не призналась! – повторил он один из афоризмов мудрого тестя, сгинувшего в цепких объятьях пани Халявы.

Отхлебнув кофе, отдававший горелыми шинами, Скорятин взял из новой пачки верхнее письмо. Это была пространная жалоба на сотрудника отдела социальных проблем Помидорова, который, будучи пьян, обозвал звонившего в редакцию пожилого читателя «мозгоедом», «маразматиком» и «кучей совкового дерьма».

– И Помидоров пусть зайдет! – приказал главный редактор в селектор.

– Он в Париже.

– Опять?

– Опять.

– А что там?

– Конференция.

– Какая еще конференция?

– «Долгое эхо ГУЛАГа».

«Не редакция, а какой-то табор пьющих космополитов!» – разозлился Гена. – Пометьте: вернется, сразу ко мне! – и поставил красную резолюцию «На редколлегия!».

– Хорошо! – прерывисто вздохнула Ольга, словно ее оторвали от предварительных ласк.

...Впервые в Париж Скорятин попал давным-давно, на исходе Советской власти. Он проехал с делегацией по всей Франции, исполняя хоровые проклятья тоталитаризму. Зарубежных поездок и до, и после было много, они слились в шумный бесконечный промельк, точно мчащийся перед глазами поезд. Но та командировка запомнилась. Во-первых, вернувшись домой, он узнал, что Марина спит с Шабельским. Во-вторых, там, во Франции, в него, молодого, подтянутого, шевелюристого, влюбилась юная еврокоммунистка Аннет, готовая на все, о чем и сообщила ему жарким винным шепотом за ужином. Но в делегации под видом сотрудника «Кругозора» сновал чекист Валера, приглядывая за пишущей братией, безответственной по определению. Гена в ту пору еще ни разу не изменял жене, чем гордился, снисходительно наблюдая насыщенный редакционный блуд. И хотя его страстно влекла молодая еврокоммунистическая плоть, он, увы, устоял. В последний раз. Неверность Ласской сорвала с сердца залятую печать, он бросился наверстывать упущенное за годы идейной моногамии, и с тех пор голых баб в его жизни стало как в бане. Когда летели назад, в Москву, чекист Валера оказался в соседнем кресле и после литрового «Абсолюта», выпитого на двоих под соленые орешки, сказал угрюмо:

– Зря ты это!

– Что?

– Зря ты так с Аннеткой!

– Ну да, а ты бы меня потом... – усмехнулся Гена.

Он даже попытался обосновать и разъяснить собутыльнику свою принципиальную верность жене. Но кто же поверит, да еще столько выпив?! Перебрав, даже тихие подкаблучники провозглашают себя многократными обладателями разнузданной женской отзывчивости.

– Думаешь, я бы тебя сдал? – усмехнулся чекист.

– Вот именно.

– Да брось ты! – махнул рукой Валера. – Это уже никого не интересует.

– Серьезно?

– Гораздо серьезнее, чем ты думаешь...

Советской власти, всегда бдительной на предмет морального разложения, оставалось жить года три, хотя хворала она давно.

...Следующее письмо пришло от вьедливого подписчика Черемисова, в прошлом ответственного работника, а ныне тоскующего пенсионера. Его дружно ненавидела вся редакция: он постоянно находил в газете разные неточности, ошибки, ляпы, которые после ликвидации бюро проверки попадались в каждом номере.

Письмо, как обычно, было настукано на пишущей машинке, причем опечатки тщательно замазаны специальными белилами.

«Где он только их берет?»

Когда-то это был страшный дефицит. Журналисты везли не «шанели» и бикини, а тюбики драгоценной замазки, и благодарные машинописные дамы на громыхающих механических «Оптимах» печатали материалы дароносцев без очереди.

Бдительный Черемисов обнаружил, что в эссе Солова «Обожатель граций. Был ли Пушкин эротоманом?» допущена ошибка в цитате. Вместо слов: «О, как мучительно *тобою* счастлив я...» напечатано: «О, как мучительно *с тобою* счастлив я...» «Геннадий Павлович! – вызвал читатель, – обидно и странно находить подобные ошибки в таком уважаемом издании, как “Мир и мы”. Позор! Неужели вы, опытный журналист, не чувствуете изысканного эротизма пушкинского “тобою счастлив я” в сравнении с пошлой, рутинной физиологией словосочетания “с тобою счастлив я”? В последнее время в вашей газете стало много опечаток и путаницы. В прежние времена я бы пригласил вас на беседу в городской комитет партии. Но теперь остается рассчитывать только на вашу внимательность и требовательность к себе и сотрудникам...»

«Если бы я читал каждый номер насквозь, я бы давно спятил! – мысленно возразил главный редактор. – И если ты, старый пень, думаешь, что собрание акционеров лучше, чем отдел пропаганды и агитации, то сильно ошибаешься. В горькоме с тобой хотя бы разговаривали. Топали ногами, выговора лепили, но давали шанс... Эти, нынешние, сразу гонят в шею. Входишь человеком – выходишь фаршем. Ты бы, умник, хоть раз пообщался с Кошмариком, я бы на тебя посмотрел! А то, что Заходырка для экономии разогнала бюро проверки, об этом ты знаешь, крохоборец хренов? Какие были старушки, штучные, всю классику наизусть знали, в цитате из Толстого запятые по памяти могли расставить! Теперь эта выдра силиконовая мечтает и корректуру сократить до одной читки, говорит: “А еще лучше печатать тексты в авторской редакции, так все делают!” А если все снова станут на деревьях жить, значит, и нам тоже на ветку? Дурак ты, дед, хоть и не дурак, видно...»

От бурной внутренней отповеди у Гены заломило виски. Он взял красный фломастер и начертал:

«Солову. Срочно разобраться и доложить на планерке! Перед автором извиниться и прочь». Но подпись вышла не выверенная, как обычно, а с нечаянной злобной закорючкой.

Раздосадованный, Скорятин решил больше не огорчаться чтением почты и следующее письмо взял из любопытства – это был снимок светловолосой девушки в сером вязаном берете и синем приталенном пальто с шалевым цигейковым воротником. Она, явно позируя, стояла в зимнем солнечном лесу, прислонившись к березовому стволу. Лицо – милое, доброе и какое-то несовременное. Прежде актрис с такой внешностью брали на роли фронтовых медсестер или курсисток, жалеющих народ. Показалось, он уже видел эти глаза, исполненные взрослой грусти, какая бывает у совсем юных особ, одаренных состраданием. Недоумевая, Гена перевернул снимок и прочел на обороте надпись, сделанную аккуратной женской рукой:

Это наша Ниночка в день рожденья. Не забывай нас!

Скорятин всмотрелся в фотографию и почувствовал, как сердце тяжело затрепетало, предчувствуя невероятное.

«Ну-ка, ну-ка, и откуда это мы такие?»

Нервно надорвав уголок карточки, он отделил конверт, пришитый степлером, приблизил к глазам и прочитал обратный адрес: «Тихославль, улица Ленина, д. 4, кв. 15...»

«Есть такой городок. Бывал, как же! Тихославль... Господи, неужели?!»

– Хотите загадку?

– Хочу.

– Я живу на лысине, а работаю на бороде!

– Х-м...

– Сдаются?

– Сдаюсь.

– Эх, вы! Я живу на улице Ленина, а работаю на улице Маркса.

«Зоя! Не может быть!» – он еще раз всмотрелся в фотографию Ниночки и ощутил в теле зуд, будто его всего искололи острыми сухими травинками.

«Тобою счастлив я...»

Это – о Зое!

7. Не трогайте мои уши!

От ошеломительного воспоминания Скорятин вспотел и на миг потерял ориентацию во времени и пространстве. Он схватил снимок, выскочил из-за стола, метнулся в комнату отдыха и, только уткнувшись в книжный шкаф, где теснился бесконечный Брокгауз, сообразил: комната отдыха с душем, туалетом, раскладным диванчиком, баром-холодильником, а главное – с зеркалом осталась в особняке на Зубовской площади. Очнувшись и осознав оплошность, Гена зачем-то провел рукой по золотым рельефам корешков, растер в пальцах жирную темную пыль, несколько раз медленно вздохнул, чтобы успокоиться, напустил на лицо деловитость и вышел в приемную. Там, рядом с вешалкой на стене, зияло большое зеркало, оставшееся от прежних арендаторов. Редакционные дамы время от времени заходили сюда, чтобы похвалиться обновкой и окинуть себя контрольным взглядом. Ольга, черт бы ее драл, совсем нехстати сидела за столом, уставившись в журнальный гороскоп. Видимо, соображала, благоприятствует ли разводу расположение небесных тел. Увидев шефа, она привстала, но он махнул рукой, мол, работай уж теперь, и степенно проследовал в мужскую комнату.

Сегодня, как говорят америкосы, был не его день. В туалете он обнаружил Непесоцкого, похожего на собравшегося в поход натуралиста. Фотокор, склонив голову, с благоговеньем всматривался в зев писсуара, словно не облегчался, а мироточил. Увидев шефа, он изобразил смущение от встречи с высоким начальством в обстановке низких позывов и стал торопливо застегиваться. Но Скорятин, коротко кивнув, спешно скрылся в кабинке. Дожидаясь, пока ненужный свидетель уйдет, главред хозяйским оком отметил: туалетной бумаги снова нет, а крышка бачка отбита. Стукнула дверь, Гена вышел и обнаружил перед собой просительно улыбающегося Непесоцкого:

– Геннадий Павлович, расходные материалы кончились. Совсем. А Заходырка не дает. Говорит, нет денег.

– Пишите служебную записку.

– Написал. Месяц у Ольги лежит.

– Я распоряжусь.

– Только обязательно!

– Хорошо-хорошо, – поморщился Скорятин.

– Не забудьте! Работать нечем.

– Я ничего не забываю!

Лишенец сразу понял, о чем речь, и покинул туалет, пятась. Года три назад, отправленный снимать юбилей банка «Щедрость», Непесоцкий напился на фуршете в труху и потерял казенную камеру. Но Гена злился не из-за списанного «Никона» и не из-за нелепого производственного разговора в сортире, а из-за того, что в голосе подчиненного послышалось неверие во власть главного редактора, бессильного перед могуществом генеральной директрши. Он и сам не мог понять, как, когда, почему так вышло? Бред: знаменитые журналисты во главе с ним, «золотым пером России», асы, делающие одну из самых громких и непокорных в стране газет, стали дармоедами, обузой, попрошайками при кордебалетчице, наскоро окончившей бухгалтерские курсы. Он помнил, как в кабинет Танкиста входил главный бухгалтер Цимерман. Так, наверное, крепостной староста, недособрав оброку, вползал к Троекурову. Да и Шабельский, ничего не скажешь, умел себя поставить: прежний директор Бак без одобрения босса чихнуть боялся: едва начинал слегка химичить, бдительный Исидор с кривой усмешечкой говорил на планерке:

– А не сделать ли нам, коллеги, баканализ?

Умел Шабельский и с хозяином разговаривать. Чуть что не так – сразу: заявление на стол и улыбочивая угроза поднять в мировом журналистском сообществе такую волну, что мало

не покажется. А Кошмарику с его мокрой репутацией только волны не хватало. Зато когда Исидора вышвырнули, никто не пикнул: никаких волн, мятежей и заявлений Союза журналистов. Зачем? Богатый человек купил себе игрушку – газету. Хочет – забавляется, хочет – на помойку выбрасывает или продает. Частная собственность. Не тренера же сборной погнали, а какого-то главного редактора. Чего шуметь?

Скорятин подошел к зеркалу, еще раз посмотрел на фотографию «нашей Ниночки» и на свое отражение. Господи, несвежая кожа, мешки под глазами, двойной подбородок и нос в фиолетовых прожилках от крепких излишеств. Если бы не благородная седина и осмысленный взгляд, смотреть не на что. Время – это какой-то сумасшедший косметический хирург, который злорадно лепит из молодого прекрасного лица обрюзгшую ряху. Гена чуть не плюнул в свое отражение. И что только Алиса в нем нашла?

Но Зоя? Зоя! Почему столько лет молчала? Конечно, она была обижена, оскорблена – тогда все так запуталось. Но если бы он знал, догадывался, все бы вышло иначе. Жизнь была бы другой. Гена снова и снова сравнил девушку на снимке с собой. Да, точно: глаза скорятинские, карие. И брови его – чуть нахмуренные. А вот прямые латунные волосы, поворот головы, овал лица, подбородок, – все Зоино. Как же природа интересно перемешивает! Зачем? Только затем, чтобы люди со сладким любопытством угадывали в детях-внуках свои полускрытые черты?

...В детстве он обижался, если кто-то выискивал в его внешности признаки неведомых пращуров. По выходным и праздникам собирались за большим столом у бабушки Марфуши. Родня выпивала, закусывала, налегая на треску под маринадом. Семейный остроумец, дядя Юра, нахваливал:

– Белорыбица, чистая белорыбица! Закуси, своячок!

– Как ее пьют беспартийные! – сладко морщился отец, опрокинув стопку.

– Коммунисту первую пулю! – подливая свояку, острил дядя Юра, известный в родственных кругах своим благородным происхождением, – его маман служила гувернанткой в барской усадьбе.

– Молчи, балабол! – прикрикивала на супруга тетя Валя: первого мужа у нее забрали то ли за анекдот, то ли за растрату.

Поначалу родичи насыщались, не обращая внимания на малолетнего Гену, тихо ловившего магнитной удочкой красных картонных рыбок из бумажных прорубей. Взрослых интересовало другое: гадали, за что сняли Хрущева, откуда свежий шрам над бровью у Гагарина, до хрипоты спорили, погасят ли послевоенные облигации.

– Ага, погасят и еще добавят! – сомневался всегда хмурый отец.

– Точно погасят! – уверял дед Гриша. – Сталин обещал.

– Сталин людей сажал! – встречал вольнодумец дядя Юра, игравший на барабанах в ресторанном оркестре. – Ни за что!

– А теперь, значит, не сажают, только выкапывают? – усмехался дед.

– Он полстраны посадил!

– Вроде образованный ты, Юрка, мужик, а мозгой не пользуешься. Посчитай! Если половина сидела, значит, вторая половина их стерегла, кормила и дерьмо вывозила. Кто же тогда воевал?

– Штрафники.

– А строил?

– Эки.

– Э-э... Одно слово – барабанщик.

– Он «Голос Америки» ночью слушает, – наябедничала на мужа тетя Валя. – Спать не дозовешься.

– Смотри, зятёк, поведут тебя за твой язык!

– Был зятёк да в Сибирь утёк, – вздыхала бабушка Марфуша.

От облигаций и Сталина обычно переходили к искусству: дивились, что у балерины Батманской целых два мужа, и оба законные, ей это официально разрешили, иначе она не может танцевать, а ее любят за границей. Политика! Обсуждали скандал в мире кино, такой громкий, что его отголоски достигли даже самых простодушных застолий. Артистка Ирэна Вождедей изменила мужу, легенде советского экрана Косте Клочкову, и не с кем-нибудь, а с негромким певцом Максом Шептером. Однако после развода вышла замуж не за него, а за другого всенародного кинолюбимца Мишу Лукьянова и сразу, дела вдаль не отлагая, родила дочь.

– От Шептера! – хмыкал отец, относившийся к людям с тяжелой подозрительностью.

– Паша, ну почему от Шептера? – удивлялась мать, напротив, слишком доверчивая к коварствам жизни. – Лукьянов сразу бы догадался!

– А на ребенке что, написано?

– Вот и написано, – вступала в разговор тетя Груня. – Ты, Павлик, на сына посмотри! Нос у Генки твой. Или чей?

– Нос Пашкин, точно! – поддерживал дед Гриша.

– Губы Нюркины, бантиком, – подхватывала стихийную генетическую экспертизу бабушка Марфуша.

– А глаза-то карие в кого? У Пабло – серые. У Аннет – голубые. Кто нахимичил? – хихикал дядя Юра. – Эх, вы вейсманисты-морганисты!

– В моем доме попрошу не выражаться! – словами из «Кавказской пленницы» предостерегал отец.

– В меня, – признавалась бабушка Марфуша.

– В тебя? – все с удивлением вглядывались в ее глаза, подернутые белесой глаукомой.

– В меня! Гриш, ты забыл, что ли, старый?

– Забыл, – соглашался дед. – Точно, карие были, как мед!

– А кудрявый Генка в кого? – спохватывалась тетя Груня, озирая родню. – Вроде не в кого. Еврейцев у нас не было.

– В отца моего. Степан Кузьмич ох кучерявый был, да еще с трехрядкой ходил, – объясняла бабушка Марфуша. – Девки за ним по селу табуном бегали. Мать все глазоньки выплакала. Но терпела – любила до смерти.

– А уши? В кого Генка лопухий? – ехидно спрашивал дядя Юра.

– погоди, дай вспомню... Васёк был лопухий.

– Какой Васек?

– Братик мой. Умер в 1929-м совсем мальчиком, с голодухи. Вот уж лопухий был, даже батюшка смеялся, когда крестил...

– Не трогайте мои уши! – вскипал малолетний Скорятин. – Отстаньте! Это мои уши!

Он отшвыривал магнитную удочку и убегал в длинный коридор большой коммунальной квартиры. Там, между шкафов, ящиков, сундуков, можно было спрятаться, затаиться, погрузиться, даже поплакать от обиды, а если повезет, напроситься в гости к Жилиным – у них имелся цветной телевизор «Рекорд». Остальные довольствовались пока черно-белыми, а у бабушки Марфуши вообще стоял на комод древний КВН с крошечным экраном, который увеличивался с помощью выдвижной водяной линзы. Дорогуший «ящик», шептались соседи, Жилины смогли купить, потому что сам, работая в мясном отделе продмага, обвешивал покупателей. Только много лет спустя Гена догадался, что стал свидетелем социального расслоения коммунальной общины, вскоре распавшейся. Соседи, дождавшись отдельных квартир, разъезжались к черту на кулички – в Измайлово, Нагатино, в Лосинку. Первыми улучшились Жилины – купили кооператив у ВДНХ.

Почему маленького Скорятина задевало бесцеремонное обсуждение его внешности и злило сходство с неведомыми дедушками-бабушками? В ребячестве он воспринимал это как грубое вмешательство в свою особенную, отдельную жизнь, как посягательство на неповторимость. В детстве чувствуешь себя единственным экземпляром, даже смерть других людей еще не имеет к тебе отношения. Ты сам по себе. Ты уникал! А тут, оказывается, кудри тебе достались от какого-то сельского гармониста, глаза от бабушки, а уши – вообще от мертвого мальчика. Ну как тут не надуть мамины губы бантиком? Потом, повзрослев, даже постарев, понимаешь: сходство с родней, живой и давно истлевшей в земле, радостное узнавание своих черт в лице дочери или сына – наверное, самое главное в жизни. Это и есть, в сущности, бессмертие...

«А лоб-то наш!» – гордо подумал Гена, всматриваясь в незнакомое, но уже почти родное лицо Ниночки и вспоминая высокий чистый лоб покойной матери.

Марина не любила разговоров о фамильном сходстве. В интеллигентной арбатской семье не было принято обсуждать родовые корни и заглядывать в туманное портняжное прошлое. Отсчет шел от деда Бориса Михайловича, гимназиста-буденновца, выпускника Красной академии, всю жизнь трудившегося по атеистическому ведомству. Впрочем, иногда Гене казалось, что его просто не пускают в мир кровных секретов рода Ласских, как не пускали беспартийных на закрытые собрания, а еще раньше из церкви перед литургией выставляли вон оглашенных. Лишь однажды жена, разозленная очередной семейной ссорой, сорвала злость на дочери. Подросшая Вика рыдала у зеркала, проклиная свой катастрофический нос, на самом деле просто длинноватый. Марина слушала-слушала и взорвалась:

– А какой еще нос ты хочешь от гомельского раввина?

Да, кровь, как говаривал Воланд, – великая вещь! Кровь – неодолимая сила, исподволь ведущая человека по жизни. Можно об этом не думать, не признавать, считать, что все дело в родном языке, в законных пейзажах, в прочитанных книгах, в могучих идеях. Можно, даже, наверное, нужно, так думать, но кровь несет от сердца к мозгу нечто такое, чего нет и не было ни в языке, ни в пейзажах, ни в книгах, ни в идеях. Нигде! Кровь, текущая в твоих венах, помнит то, чего не помнишь ты. Так волжская вода, разлившаяся морем меж сухих голодных степей, помнит и про валдайские валуны, и про тверские затоны, и про корявые корни костромских елей, и про жигулевские песчаные отмели... Эта забытая память определяет многое, если не всё – поэтому лучше жить в согласии со своей кровью, а не вопреки.

...Возвращаясь к себе, Скорятин увидел, что Ольга снова говорит по телефону и в глазах ее стоят слезы нерешительности. Он улыбнулся ей с сочувствием, попросил никого к нему не пускать, зашел в кабинет и, усевшись за стол, занялся изучением штампов на конверте. Итак, отправлено из Тихославля 18 февраля, рассуждал он как заправский детектив из сериала «Тайны следствия». Московский штамп от 3 марта. Все верно: письма теперь идут по России долго, как с Мадагаскара. Лес на снимке зимний. Значит, день рождения у нее в начале февраля. А на вид Ниночке лет двадцать пять. Плюс-минус. Конечно, январь или декабрь тоже исключать нельзя: замешкались, спохватились, но, как правило, письма после двадцатипятилетнего молчания отправляют сразу, по неодолимому порыву – или не отправляют никогда. Значит, все-таки середина февраля. Отнимаем девять месяцев, выходит – май. Где он был в мае 87-го? В Москве. Точно! Пошел по заданию Исидора на митинг «Памяти» у Поклонной горы и показал, чтобы пропустили, удостоверение. «Васильевцы», узнав, что Гена – «Мымры», так навалили спецкору, что он неделю провалялся с «ушибами мягких тканей лица». Шабельский объявил его героем и выписал премию. Значит, 87-й отпадает. А если вычесть, допустим, 24 года? Где он был в мае 1988-го? В Тихославле. Ошибиться невозможно. Отец умер в июне, когда Гена прилетел из Америки и хотел объявить жене, что уходит, но закрутился с похоронами – и все перепуталось. Самое страшное, когда в сердце сталкиваются невыносимое счастье и большое горе. Можно умереть или совершить непоправимую ошибку...

В первый раз Скорятин попал в Тихославль в мае 1988-го. Его послали в командировку, как тогда выражались, по тревожному письму – жалобе клуба «Гласность». Им запретили собираться в библиотеке имени Пушкина, а нового помещения для словопрений не дали: классическое наступление партократов на перестройку. Тогда, после письма Нины Андреевой в «Советской России» все возбудились и очень боялись реванша врагов ускорения и заединщиков застоя. Шабельский вызвал Гену, вернувшегося из Франции, так и не вкусив еврокоммунисточки Аннет, проинструктировал и послал. Исидор тогда постоянно отправлял его куда-нибудь, и Скорятин скоро понял почему.

Обычно из-за границы он домой не звонил: дорого, а суточные в валюте выдавали по нынешним временам смешные – на хороший обед не хватит. Но в тот раз Гена присмотрел Марине в универмаге «Тати» платье и хотел согласовать покупку, прежде всего – размер: жена села на диету, по утрам, включив телевизор, изнурялась аэробикой и удивительно постройнела, вызывая свежее влечение. Он ждал ее прихода в супружескую постель с тем же бьющимся сердцем, как прежде в чужой квартире. Если Борька визжал, не отпуская мать, Гена злился и расстраивался.

Платье было роскошное – черное, обтягивающее. Странное ощущение для советского человека: ты не достаешь тряпку у знакомых с переплатой, не хватаешь на закрытой распродаже, не перекупаешь у спекулянта в подземном переходе возле «Березки», а долго-долго бродишь вдоль бесконечных вешалок, забитых модным барахлом, и выбираешь товар, как редиску на Центральном рынке. Потом (и это тоже удивительно!) звонишь в Москву с Елисейских полей из уличного автомата, опуская однофранковые монетки. Чудо! Фантастика! Но в новой кооперативной квартире никто не отвечал – долгие гудки. Удивленный Гена набрал Веру Семеновну, и та радостно доложила, что Мариночку отправили в Ялту – писать очерк про домик Чехова. А Боречка у них, в Сивцевом Вражке, кушает хорошо, можно не беспокоиться. Любопытная теща расспрашивала про Париж, пока у зятя не кончились монеты.

В редакцию из-за рубежа Скорятин тоже не звонил. Знал, если что – найдут через корпункт. Но Саша Калязин, один из рыцарей правды, попросил связаться в Париже с Лимоновым и передать ему коллективный сборник «Непроходняк», где напечатали несколько стихотворений изгнанника. За контакты с эмигрантами к тому времени уже не карали, даже не грозили пальчиком. Жизнь менялась стремительно. Но, вручая книжку для передачи беглому писателю, старый товарищ честно предупредил:

– Эдик тебя, конечно, поведет в кабак, станет разговоры разговаривать. Будь поаккуратнее!

– В каком смысле?

– Не откровенничай, а то выведет тебя в новом романе полным дебилом.

– А если я глупого ничего не скажу?

– Все равно выведет. Творческий метод у него такой.

Лимонов с радостью откликнулся на звонок и через час был в холле отеля. Мускулистый, в тенниске и облегчающих брюках, он смахивал на атлета, готовящегося подойти к «коню» и завертеться, ловко перехватывая отполированные ручки снаряда. Взяв книжку, Лимонов нежно погладил ее, как долгожданного ребенка, полюбовался обложкой, полистал, а потом пригласил доброго вестника в ближний кабачок. Выпили много, Гена без усталости вещал о невероятных переменах в СССР, а Эдик, осушая очередной бокал совиньона, шумно восхищался, какого умного собеседника послала ему судьба, и повторял:

– Надо возвращаться. Пора! Пора!

Разговор пошел такой интересный, острый, настоящий, что Скорятин попросил разрешения и включил диктофон, чтобы сделать интервью со скандальным Эдикой. Несмотря на гласность, темы и персоны все еще надо было согласовывать, и он с утра, страдая головной болью, помчался в корпункт: на казенный звонок кровные франки тратить не хотелось. Генриетта,

дальняя родственница Исидора, ответила: шеф уехал на недельку подлечить нервы. Спецкор взял ответственность на себя и попал в точку: грандиозный успех. Лимонова сразу пригласили навестить Родину, опрометчиво покинутую много лет назад. Платье Гена тоже купил на свой страх и риск, и тоже не ошибся: оно сидело на Марине безукоризненно, подчеркивая подтянутое изобилие ее шоколадного тела. Жена, хоть и поморщилась, заметив пакет от «Тати», но отблагодарила мужа нежной постельной новизной.

Через год легкопёрый Лимонов издал очередной роман. Там имелся эпизодический персонаж – убогий советский журналист по фамилии Курятин, удивительная свинья и редкий дурак, норовивший напиться за чужой счет и гордивший такую запредельную чушь, что совестно было читать...

- К вам Солов! – по селектору сообщила Ольга.
- Я же просил...
- Сказала. Он торопится.

8. Отказники и лабазники

Поэт Миша Солов, развязный сорокалетний детина с пузом навывкат, вошел в кабинет главного по-свойски, разве что дверь ногой не открыл. Он был бессовестно толст, но не как матерый мужик, злоупотребляющий пивом, нет, стихотворец скорее напоминал ребенка, до безобразия раскормленного безумной мамашей. Одевался Миша по-военному: носил пятнистый комбинезон, подпоясанный офицерским ремнем, высокие армейские бутсы, а на боку висела брезентовая сумка от противогаза. Скорятин оттянул срочную по полной, и его злила непонятная страсть к обмундированию чмошника, откосившего от армии. К тому же все касавшееся боевой мощи державы вызывало в Мише ветхозаветное раздражение.

Солова нашел и притащил в газету Шабельский, тоскуя после смерти Шаронова. На одной из планерок он гордо представил коллективу юного толстяка:

– Знакомьтесь, Михаил Семенович Солов – лучший современный поэт. После Бродского и бедного Вени. Теперь у нас снова есть свой гений!

Гений вел себя с надменной независимостью и передвигался по редакции как вышедший на прогулку памятник. Заданий не признавал, появлялся и исчезал по собственному усмотрению, темы выбирал себе сам, не выносил ни малейшей критики, предпочитал перелицовывать классику, подгоняя ее к злобе, а то и к ненависти дня.

Выхожу один я на дорогу,
На Уолл, как говорится, Стрит.
Вот где жизнь! Здесь люди внемлют Богу!
И с юанем доллар говорит!

Едва Исидора погнали, Гена, приняв хозяйство, хотел избавиться от унаследованного «гения», но Кошмарик узнал и предупредил: «Не трогай! Пусть рифмует». По слухам, хозяин иногда звонил Мише и подсказывал темы, а тот, несмотря на сварливый нрав, с готовностью принимал советы.

– Тебе чего? – спросил главный редактор, нарочно не сразу оторвавшись от полосы и стараясь не смотреть на немые кудри пиита.

– Есть текст! – объявил Миша.

– Как называется?

– «Я помню черное мгновенье...»

– Прочти!

Солов нехотя достал из противогазной сумки планшет новейшей модели, ткнул нечистым ногтем в экран, нашел нужный файл, напряжился и, тряся двойным подбородком, завыл:

Я помню черное мгновенье,
Перед страной явился ты,
Как inferнальное виденье
Тоталитарной Сатаны.
В позоре жизни безнадёжной,
Электоральной суеТЫ
Я слышал эхо воли прежней.
Мне снились милые черты.
Шли годы – медленно и жутко,
Мы жили, сдерживая стон.

У нас не Дума – проститутка.
Не выборы, а лохотрон.
Без божества, без вдохновенья
Влачится нищая страна
В глуши, во мраке заточенья,
В трясине вечного говна.
Но все ж настанет пробужденье,
В Отечестве воскреснут вновь
И божество, и вдохновенье,
И к справедливости любовь.
Падут позорные оковы.
И снова, как судьбы презент, –
Воссядет избранный законно –
Рукопожатный президент!

Закончив, Солов несколько мгновений благоговейно молчал, ловя эхо своих строк, уносящихся, надо понимать, на вечное хранение в алмазный фонд ноосферы. Потом небрежно спросил:

– Ну, как тебе?
– Ничего. Но вроде Сатана мужского рода?
– Это я специально, чтобы обиднее было. Он же себя альфа-самцом воображает.
– Не поймут.
– Ты недооцениваешь нашего читателя. Он гораздо умней... – поэт не договорил, но полностью фраза звучала бы так: «Он гораздо умнее тебя, козла, не достойного мизинца левой ноги великого Исидора».

Миша не принял воцарение Скорятина, считал это реваншем «лабазников», но прежде все-таки сдерживался, а в последнее время буквально оборзел: на планерках хихикал, перебивал, дерзил и смотрел на шефа как прозектор на невостребованный труп.

– Без говна никак нельзя? – сдерживая гнев, спросил Гена.
– Нельзя. Для бомбы нужна экспрессия!
– А ты думаешь, газета – это бомбардировщик?
– Да, бомбардировщик. С напалмом.
– Почему тогда не с атомной бомбой? Ладно. Возьму, но без говна!
– Только с говном. Отнесу в «Новую газету».
– Неси!
– Леониду Даниловичу понравилось.
– Ладно. В следующий номер.
– Можно и с колес. Страна ждет.
– Обождет. Нет места.
– На шестой дырка.
– Какая дырка?
– Ты же снял «Мумию».
– Ах да... Хорошо. Отдай Дочкину. Но вместо говна пусть будет дерьмо.
– Рифма пропадет.
– Найди другую. Ты же поэт, а не я...
– Денег стоит!
– Дарю: «тюрьма – дерьма».
– «Тюрьма – дерьма»? Неплохо. Как грустна наша Россия! – улыбнулся гений белыми американскими зубами.

Когда-то Чикагский фонд «Честная пресса», поощряя свободу слова, выделил средства, чтобы честнейшим журналистам бесплатно протезировать челюсти в московской клинике мировой стоматологической сети «Супердент». Первым в «Мымре» этого счастья удостоился Веня Шаронов. Неделю он ходил по редакции, одаривая коллег фаянсовой улыбкой и декламируя сочиненные на случай стихи:

Я ненавижу слово «cheese»,
От кариеса плача.
Но вот пришел зубной «ленд-лиз»,
И снова я как мачо!

Вскоре Веня по пьяни выпал из автобуса и уронил заветную челюсть в сугроб. На другой день по его отчаянному зову на место утраты пришла вся редакция – искать потерю, но рано утром уборочная машина загребла весь снег железными ручищами. Веня был безутешен, ибо жена Лида предупредила: не найдешь – прибью.

– Сумку с противогазом носят на другом боку, – вдогонку бросил Скорятин.

– Мне так нравится.

– А Пушкин тебе нравится?

– Местами.

– Тогда ознакомься и впредь проверяй цитаты! – главный редактор протянул поэту письмо буквоеда Черемисова.

Солов вернулся, взял, глянул на руководителя с усмешкой и, не удостоив ответом, снова пошел к выходу. Глядя, как перекатываются под пятнистой солдатской материей толстые бабы ягодицы стихоплета, Гена подумал:

«Танкиста на тебя, урода, нет!»

...Как только началась гласность, все поняли: дни Диденко сочтены, и тихо гадали, кто теперь станет главным. Вариантов было два: иногда в таких случаях кормило передавали кому-то из заместителей, но чаще присылали «варяга» из сектора печати ЦК КПСС, побегавшего в инструкторах и заслужившего самостоятельную должность. Но когда на следующий день после падения Деда коллективу представили Исидора Шабельского из отдела атеистического воспитания журнала «Наука и религия», все ахнули и развели руками. Таких взлетов в журналистике не помнили, пожалуй, со времен возвышения Аджубея, который, женившись на дочке Хрущева Раде, сел на «Известия». Поговаривали, Исидор, будучи с делегацией в Канаде, глянулся тамошнему послу Яковлеву, которого Суслов за нехорошую статью в «Литературной газете» промариновал в стране кленового листа лет десять. Зато Горбачев вернул Яковлева и сделал главным идеологом перестройки.

– Чем же Исидор ему так глянулся? – обсуждали в курилке.

– А чем они друг другу нравятся?

– Кто?

– «Отказники». Ты знаешь, как Яковлева на самом деле зовут?

– Как?

– Яков Лев! – отвечал осведомленный «лабазник».

– Ого! Тогда надо искать себе место...

Чтобы понять щекотливость ситуации, следует помнить, что Танкист, хоть и выдвинулся, борясь с космополитами, сам заядлым жидоедом не был. Напротив, у него имелась своя теория.

– Евреи в журналистике необходимы! – в узком кругу, под коньячок, любил говаривать незабвенный Иван Поликарпович. – Остры, сукины коты! Но только поштучно. Когда их слишком много, это уже подполье.

В результате редакция была разделена на два лагеря – инородцев и коренников, «отказников» и «лабазников». Русская партия состояла в основном из рабоче-крестьянских отпрысков, поднявшихся на могучей волне борьбы с неграмотностью. И только Мозгалеvский, долго представлявшийся сыном сормовского рабочего, оказался дворянских кровей, в чем радостно сознался после того, как Горбачев встретился на Мальте с кем-то из Дома Романовых. Да еще Седых: в анкете писал «из крестьян», а выпив лишка, хвастал, что его дед на Оби владел баржами и колесным пароходом. Прозвище «лабазники» пошло, как ни странно, от самого Диденко. Однажды на планерке Танкист развспоминался (болтлив стал с годами) и рассказал, как в родовом лабазе, играя со сверстниками в прятки, схоронился в куль с солью и долго сидел там без звука, хотя вспотевшую от волнения попку страшно пекло и щипало. Мыслящие сотрудники «Мымры» переглянулись, хихикнули и запомнили.

«Лабазники» в отместку звали супостатов «отказниками», хотя никто из них, насколько известно, не подавал заявление о выезде на историческую родину – сразу вымели бы с идеологического фронта, несмотря на «новое мышление». Тогда еще с этим было строго. Конечно, не вся редакция участвовала в борьбе, кто-то сторонился, считая, что племенная рознь неприлична воспитанным людям. К тому же паспортная национальность не всегда определяла выбор «окопа». Западенец Потнорук, носивший вышиванку, и печальный грузин Эбонидзе (поживика с такой фамилией!) примыкали к «отказникам». Зато неочевидный молдаван Галантер и арбатский армянин Козоян сражались в стане «лабазников». Впрочем, когда Эбонидзе обошли квартирой, он тут же переметнулся в противоположный лагерь, а Галантер после воцарения Исихора стряхнул с себя постылое молдаванство.

Мудрый Танкист оставался над схваткой, хотя все знали, что сердцем он с «лабазниками», среди которых почти не было столичных выкормышей. Дед их недолюбливал, выискивая самородков во время командировок в глубинку. Влюбившись, скажем, в острое перо из Ростова-на-Дону, он вытаскивал его в столицу, выбивал из ЦК квартиру, благоустроивал, холил, и если потом перо оказывалось на поверку не таким уж и острым, деваться было некуда – не отправлять же назад. Однако едва кто-то из милых его сердцу «лабазников» впадал в почвенное излишество, Дед мог взгреть за великодержавную спесь, напомнив о пролетарском интернационализме, который пока никто не отменял. Но и «отказникам» доставалось, если кто-то выпускал смешливый космополитический ворс. Диденко тяжело вперялся в ёрника и спрашивал скрипучим голосом: «Значит, с народом тебе не повезло!? Значит, говоришь, у нас страна вечно зеленых помидоров? А ты в тундре сваи в мерзлоту вбивал?» И хотя все знали, что времена изменились, в зале веяло норильской стужей, словно мимо, потрясая ледяным посохом, прошел гулаговский Санта Клаус, бородой похожий на Солженицына.

Однажды «отказник» Бунтман в субботнем фельетоне подколот: мол, в популярной песенке про аистенка, который «рвется в облака, торопит жожака», чтобы поскорей покинуть холодную родину и долететь до теплых краев, есть нестыковочка. С птицеведческой точки зрения, родина аистов – Африка, ведь именно там они проводят куда больше времени, чем в СССР. Фельетон имел успех и горячо обсуждался на бдительных московских кухнях. На планерке Танкист поискал глазами остряка и молвил:

– Вроде с высшим образованием, а простой вещи не соображаешь: родина – там, где яйца.

– Как вы сказали? – хихикнул автор.

– А что смешного? Родина там, где тебя снесли. Понял? – и так посмотрел на хохмача, что тот съел собственную ухмылку.

Забавно было наблюдать, как две редакционные фракции схлестывались на партийных собраниях, язвя и прищучивая друг друга выдержками из одного и того же постановления ЦК КПСС. Надо признать, изощренные «отказники», разя цитатами, обычно разделяли неповоротливых «лабазников» под орех, а те бежали жаловаться. Дед выслушивал ябеды на инородческий беспредел и говорил грустно:

– Учитесь, мудаки!

Гена, любимец Танкиста, с самого начала был приписан к «лабазникам», хотя всегда держался от них в стороне. Он искренне не понимал, как можно тратить столько сил на любовь к Родине вместо того, чтобы чуть-чуть поднапрячься, подучить русский язык и не сажать в текстах ошибки, за какие раньше били линейкой по рукам. Впрочем, и они его за своего не считали. Жена-еврейка, по их понятиям, – недостаток серьезный, ведь носатая ночная кукушка может так закуковать русского человека, что он за кусок мацы предаст и себя, и род свой, и Отечество.

После воцарения Шабельского начался исход «лабазников». Исидор был суров: одного отправил на пенсию, другого на каждой планерке «опускал» и довел до «собственного желания», третьего вдруг застукали пьяным на рабочем месте и вышибли. Хотя на самом деле гораздо трудней застать журналиста на службе трезвым. Редакционное пьянство – профессиональный порок, не зависящий от национальных и политических кондиций.

Касимов «лабазником» тоже не был, наоборот, вохмелю, объявлял себя потомком Чингисхана и, мутно тараща красные глаза, обещал поквитаться за взятие Казани Иваном Грозным. Гена дивился: как же долго, если не вечно, мыкаются в людской крови давние родовые обиды! Над «лабазниками» самопровозглашенный чингизид потешался. Иногда, отлучаясь из редакции, заглядывал в кабинет и тихо просил:

– Я на часок. Пивка попить. Погром без меня не начинайте!

Но именно Ренат вылетел с работы одним из первых – за пьянку. Другие, не дожидаясь расправы, сами разбежались: кто – в «Правду», кто – в «Совраску», кто – на вольные хлеба. А в «Мымру» нагрянули новые люди, озорные, энергичные, похожие на родственников, съехавшихся на семейное торжество. Скорятин называл их «наоборотниками». Еще недавно они послушно говорили и писали то же самое, что и остальные, даже правильное других. Но едва подул теплый ветер перемен, все они, словно повинувшись вековому инстинкту, первыми разорвали уродливый советский хитин, выпростав из куколок вольные разноцветные крылышки. Своего упертого прошлого «наоборотники» несколько не смущались, ехидно обсуждая, как хитроумно и безбедно пересидели зиму, дождавшись-таки своего часа.

Однако прошлая покорность жгла им грудь, наполняя лихорадочным желанием изменить теперь все сразу до неузнаваемости. Если раньше Запад считался угрозой миру, а СССР – оплотом человечества, то теперь все стало наоборот: мы империя зла, а они – жены-мироносицы. Если раньше Зоя Космодемьянская была героиней, то теперь стала дурой-пироманкой, спалившей сено, припасенное колхозниками для лошадок. Если совки держали генерала Власова за предателя, значит, новые золотые перья выписывали из него борца с тиранией. Если прежде гордились космическими достижениями СССР, то теперь вместо орбитальной станции советовали учредить на вокзалах страны новые чистые сортиры. Иногда Скорятину казалось, что «наоборотники», будь их воля, содрали бы заживо с глобуса розовую кожу Советского Союза и налепили вместо нее какие-нибудь разноцветные лоскутья.

Гену изумляло их умение не только возвеличить «светлого» человека, но и растоптать «темного». Восхваление или травля начинались как по команде, словно кто-то вскрыл мобилизационный пакет и дал сигнал к военной операции, где каждый знал свой окоп, свою огневую точку, свой маневр. И горе побежденному! Едва Юрий Бондарев бухнул с трибуны: мол, перестройка похожа на самолет, который взлетел, а где сядет, не известно, сразу обнаружилось, что литератор-то он слабенький, зато дача у него в Пахре круче, чем у Льва Толстого в Ясной Поляне. А где же «Война и мир»? Зашептались, будто и на передовой писатель-окопник ни разу не был, все больше по тылам отсиживался. И человек, вчера еще уважаемый, звездный, неколебимый, за несколько дней превращался в нерукопожатное существо с неприятным запахом. И делай после этого что хочешь – вешайся или в ноги к светлым людям бухайся...

Ренат как-то был «свежей головой» и обозревал на планерке номер со статьей Мары Ивановой «Недоклассик». Название, кстати, по просьбе Жоры придумал Гена. Касимов, похвалив заголовок, вдруг завелся: негоже травить хорошего писателя за то, что не нравятся его политические взгляды.

– Вы же сами, Исидор Матвеевич, любите повторять Вольтера: «Я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это...» Так?

– Так! – кивнул Шабельский, и коллектив затаился.

– У нас ведь плюрализм?

– Конечно. И еще у нас – гласность.

– А что такого особенного сказал Бондарев, чтобы его уничтожить?

– Минуточку, Ренат Раисович, мы никого не уничтожаем. Просто за годы застоя накопилось много искусственных авторитетов.

– Бросьте, вы за три года перестройки столько искусственных авторитетов надули... Что вы ввелись в Бондарева? Вы-то сами знаете, где сядет самолет?

– Конечно, – тонко улыбнулся Исидор.

– Где же?

– Скажу, когда долетим! – и главный посмотрел на Касимова с прощальной теплотой.

Вскоре комендант застал Рената с Шароновым за распитием спиртного на рабочем месте. Веня давно спал, уронив кудлатую голову в графоманские рукописи, поэтому ему объявили выговор, а Касимова, пославшего бдительного обходчика в самый интимный уголок вечной женственности, уволили. Пир свободомыслия продолжался. Тон задавал Исидор. Если в свежем номере не было «бомбы» и возмущенные ретрограды не обрывали «вертушку», он тосковал, злился, мелко придирался к сотрудникам, ставил им в пример «Огонек», опубликовавший статью про то, что Сталин был скрытым гомосексуалистом, облюбовал себе Гитлера, заключил для этого пакт, а фюрер обманул и напал. Жен членов Политбюро Сосо сажал, чтобы без помех содомничать с соратниками. Статья так и называлась «Я садомником родился...» Бомба! Фугас! Учитесь, олухи!

Но если удавалось напечатать что-то скандальное, Исидор цвел, выписывал премии, водил авторов сенсаций в Большой театр, где служила в литературной части его жена Элина Карловна. Когда Яковлев доверил «Мымре» первую публикацию о «хлопковом деле», после которой словно коса прошла по узбекским партийным баям, Шабельский по совету Сун Цзы Ло снял в «Пекине» банкетный зал, поил редакцию кислой китайской водкой, кормил лягушачьими лапками и тухлыми яйцами. Долго потом бухгалтер Бак страдал, выписывая липовую матпомощь и покрывая урон. «Наоборотники», влюбленные в своего босса, говорили с усмешкой: «Это вам не Танкист!» Иван Поликарпович, и то правда, был скуповат, денег не жалел разве что на похороны усопших коллег.

Скорятин понимал: надо уходить, хотя до пенсии было далеко, а пил он умеренно – в примаках отучили. Вскоре после женитьбы Гена, проведывая родителей, встретил возле Ватутинских бань одноклассника, загулял, в Сивцев Вражек (кооператив тогда еще не купили) приполз за полночь, наблевал в биде, перепутав с унитазом, попытался насытиться беременной женой, получил в лоб, загрустил и вырубился. Утром он проснулся в том состоянии, когда хочется немедленно застрелиться и желательно из крупнокалиберного пулемета. Марина ушла в женскую консультацию, оставив на тумбочке записку: «Свинья!». Часы показывали половину второго. Ничего себе – выспался! Умирающей тенью он скользнул в ванную, долго и жадно пил из-под крана, удивляясь жжению во рту, но потом сообразил, что по ошибке хлебал горячую воду. Включил холодную – и зубы заломило так, будто он сгрыз айсберг. Закачав живот жидкостью до отказа, но так и не утолив жажду, Гена заметил в зеркале зеленую рожу с красными воспаленными глазами и вздыбленными волосами. Узнав себя по усам, отпущенным сразу после свадьбы, он вдруг вспомнил – как воскрес: у тестя всегда имелось в запасе чешское пиво, кото-

рое ему доставлял знакомый коллекционер, директор гастронома в Жуковском. Не потревожив ворсинки на коврах, страдалец просквозил на кухню, взялся за никелированную ручку холодильника, а губы сложил в блаженную гузку, какой гибнущий человек тянется к дымящемуся пивному горлышку. И тут за спиной выстрелил тещин голос:

– Геннадий, я хочу с вами поговорить!

Скорятин обернулся, едва не упав: Вера Семеновна стояла одетая на выход. В ту пору она читала лекции на курсах повышения квалификации в Высшей профсоюзной школе и потому ограничилась «каратниками» в ушах и «двухкаратником» на пальце.

– Геннадий, вы, конечно, знаете, что Александр Борисович был против вашего брака. Категорически! Но я поддержала Марину. Она вас любит. За что – ее дело. Но прошу вас, не подводите меня, не тащите в наш дом помойку, из которой мы помогли вам выбраться! Надеюсь, разговор на эту тему у нас последний. Впрочем, он последний в любом случае...

Воспитывая зятя, она деловито разостлала на столе салфетку, разложила серебряные приборы, достала из холодильника черную икру, масло, соленые огурчики, финский сервелат, шпроты, болгарское лечо, а потом, налив в хрустальный графинчик граммов сто пятьдесят посольской водки, поставила перед Геней золоченую мозеровскую рюмку.

– И никогда не лечитесь пивом, как лимитчик! – бросила она, уходя.

Вот это был урок! Нельзя сказать, что Скорятин с тех пор вообще не пил, но с алкоголем у него сложились опасно-предусмотрительные отношения, как с буйной любовницей, которая вдруг может явиться ночью к законной жене и заголосить, ломая руки: «Отдайте мне его! Он мой! Мой!» И ведь Марина отдаст...

В общем, увольнение за пьянство ему не грозило. Ругать на планерках его тоже было не за что: писал он отменно, а «шапки» придумывал такие, что только руками разводили: «Голова!» Но несмотря на достоинства, Гена был обречен. «Наоборотники» не признают чуждых талантов, как на Западе не признают русские дипломы. Скорятин был для них чужим, ибо не упивался праздником непослушания, охватившим страну, да и с пятым пунктом подкачал. Из отдельного кабинета его пересадили в общий. Новые сотрудники, занявшие столы в большой комнате, почти не разговаривали с ним, а если он неожиданно входил, обрывали на полуслове шумный спор и смотрели на него, как в мужском туалете смотрят на уборщицу, нарушившую сокровенность. В общем, нежилец...

Гена без лишних унижений и напоминаний подыскал себе должностишку в «Гудке», написал заявление о переводе и дорабатывал положенные по закону две недели. Иногда, если он оставался один, в комнату проникал Жора, срочно перековавшийся в «наоборотники», и тихо молил:

– Заголовок для статьи о падении производительности труда. В номер. Спасай!

– Де-ста-ха-но-ви-за-ци-я, – помедлив, отвечал нежилец.

– О искрометнейший, что мы без тебя делать будем!

9. Веня и Жора

Дверь открылась – и легкий на помине Жора Дочкин, возмущенно размахивая машинописным листком, влетел в кабинет. Сколько помнилось, он всегда ходил в обвисших джинсах и кожанке, некогда черной, а теперь вытершемся до слоновьей серости, – менялись только рубашки, непременно клетчатые. В тридцатиградусную московскую жару зам давал себе поблажку – льняной пиджак, мятый, словно вынутый из кармана. Кстати, черные кожанки они покупали вместе на закрытой распродаже для делегатов съезда журналистов. Но Скорятин давно отдал свою дачному сторожу, а бережливый Дочкин все еще донашивал.

– Что случилось?

– Гена, ты с ума сошел? – Сизое небритое лицо Жоры дрожало, как потревоженный студень. – Это нельзя печатать, о неосторожнейший!

– Что?

– Соловскую херню. Нас закроют.

– За что?

– За «нерукопожатного президента». Во-первых, это неправда. Президент у нас отличный! – он сказал это громко и куда-то ввысь.

– Не волнуйся, здесь не прослушивают. Недавно проверяли.

– А во-вторых, так нельзя! Ну есть же какие-то границы. Нас прикроют.

– Нет никаких границ. Еще не понял? Если бы границы были, нас бы закрыли, когда сбежал Кошмарик. И за «тоталитарную Сатану» не закроют. А вот за статью о Дронове могут. У нас свободная страна: можно спокойно обзывать царя козлом, но попробуй сказать против пса – затравят!

– Они там не понимают, что все это плохо кончится?

– А ты уверен, что они там хотят, чтобы все хорошо кончилось?

– Значит, ставить?

– Допустим, я скажу: не ставь. Солов тут же настучит Кошмарику. А тот настучит мне – по голове. Поэтому ставь сразу.

– Все равно остается дырка.

– Посмотри что-нибудь из «заиксованного».

– А с «Клептократией» что делать?

– Не знаю. Ты как себя сегодня чувствуешь? Затылок не давит?

– Давит. Утром сто восемьдесят на сто десять было.

– Многовато!

– Может, по чуть-чуть? Коньяк – лучший друг сосудов.

– Посмотрим... – заколебался Скорятин.

Если Алиса призовет сегодня к себе, придется пить секретную таблетку Казановы, а это вместе с алкоголем строго не рекомендуется – врач предупреждал.

– Говорят, Кошмарик нас продать хочет, не слышал? – осторожно спросил зам.

– А почему бы и нет? Он нас купил, как деревню с крепостными. Может и продать. Капитализм.

– А куда идти? Мне до пенсии всего ничего осталось.

– За что боролись – на то и напоролись.

– Я не боролся, я строчки считал, – грустно молвил Жора и ушел, по-стариковски шаркая большими изношенными кроссовками.

Незабвенный Веня написал как-то о нем:

Жизнь – интересное кино!
Вот ответсек Ж. Дочкин.
Он выпил танкер водки, но
Не написал ни строчки.

В журналистику Дочкин попал случайно, о чем любил рассказывать под рюмку. Мать вырастила Жору без отца, не вынесшего ее астмы, которая обострялась от любого пустяка, в том числе и от супружеских обязанностей. Работать она могла только дома: клеила коробки для елочных украшений. Сын с восьмого класса начал сам зарабатывать, устраивался куда-нибудь на школьные каникулы, однажды увидел объявление: еженедельнику «Мир и мы» требуется курьер. Они тогда еще сидели в газетном комбинате, особняк на Зубовской возник через год. Танкист поехал в санаторий, встретил там однополчанина из Управления делами ЦК КПСС, пил с ним каждый вечер и выпросил новое роскошное помещение. Тогда многое решало фронтовое братство. Скажем, сходились вверх два седых титана-управленца, чтобы схватиться насмерть, вглядывались друг в друга: «А не ты ли в 1941-м под Оршей?..» «Я...» Обнялись, поцеловались и договорились.

Жора зашел по объявлению – и уже на другой день разносил по этажам полосы. Больше всего ему понравились бездверные лифты, скользившие, не останавливаясь, вверх-вниз: сотрудники ловко впрыгивали и выпрыгивали на ходу.

– А если кто-то не успеет? – вслух, как бы себя самого спросил новичок.

– Все предусмотрено! – солидно ответил Скорятин, работавший в «Мымре» целых полгода.

Когда пространство между опускающимся полом и перемышкой этажа сократилось до полуметра, он сунул в щель ногу – лифт дернулся и встал.

– Здорово! – восхитился Дочкин.

– Ну что ты делаешь, ребенок с длинным хером? И так жить не хочется! – взныл светлокожий негр с синяком под глазом.

Это был Веня Шаронов – сказка и легенда «Мымры».

Но еще больше, чем медленные лифты, Дочкина потрясла редакционная жизнь. О, это был дивный мир! По коридору бегали, перешучиваясь, не по-советски одетые люди. Из кабинета несли вопль: «Токио, Токио, Москва на проводе! Ответьте! Не слышу!» Кто-то останавливался и с тонкой улыбкой советовал: «Лёва, хватит орать, попробуй просто позвонить в Токио по телефону!» Шутка такая. А столовая, закрытая столовая, где бутерброд с черной икрой стоил двадцать две копейки, сосиски дурманили забытым мясным ароматом, а «боржом», давно исчезнувший из обычных магазинов, манил красно-синими этикетками! Там, за соседним столиком, могли говорить о том, как на премьере в Доме кино великий актер Холопский напился в хлам и встал на колени перед буфетчицей, моля о рюмке в кредит. Там со знанием дела утверждали, что мулатки на пляс Пигаль буквально ничего не стоят, даже сами пристают к прохожим, чтобы не потерять квалификацию. Там учили, что пить надо только ирландский виски, а не скобарский скотч, ну разве если «блю лейбл»...

– Вроде и японский виски ничего.

– Химия!

Жора влюбился в этот мир навсегда и решил поступать на журфак МГУ. Но без публикаций документы у абитуриентов не брали. Дочкин пошел за советом к Вене Шаронову. Почему к нему? Во-первых, к нему шли все молодые и неопытные. Во-вторых, Жора успел с ним подружиться.

Веня Шаронов, плохо сохранившийся пятидесятилетний мужчина с худыми ногами и большим животом, смахивал на негра: жесткие мелкие кудри, приплюснутый нос и черные глаза, замученные плантаторским рабством. Казалось, природа затевала африканца,

но в последний момент передумала, выбелив кожу. Веня заведовал в «Мымре» отделом литературы, сочинял стихи и даже, по слухам, имел отношение к очень большой литературе: его первая жена ушла от него к Бродскому. Вторая жена, безуспешная актриса Лидка Бубенникова, происходила из кубанских казаков, была выше мужа на голову и вдвое шире в плечах – чем и пользовалась. Когда Веня приходил домой пьяным (а пьяным он приходил всегда), она встречала его на пороге и без единого укора била в челюсть. Он падал и засыпал. Впрочем, суровость Лидки объяснима: Веня, обычно сдержанный, даже стеснительный, выпив, превращался в сексуального шалопая и задиру. Мог подкатить к чуждой даме, отрекомендоваться помесью еврея с обезьяной и предложить ей краткий, но незабываемый интим в туалете. Иногда его били, чаще смеялись.

Именно так он и познакомился с Лидкой. Бубенникову тогда жестоко обманул давний любовник – режиссер Пореев: пообещал роль в комедии «Повариха», но в последний момент отдал красотке Тепличной – блондинке с шалыми глазами. Лидка взбесилась, поклялась отомстить и слово сдержала, показательно переспав с «помесью еврея и обезьяны», подсевшей к ней в ресторане Дома кино. Пореев, главный антисемит советского кино, устав от Тепличной, вернулся со съемок и затребовал Бубенникову. Ему шепнули правду, он вскипел обидой, примчался выяснять отношения, но его не пустили на порог. Тогда мэтр в гневе позвонил в столярный цех «Мосфильма», ему привезли двадцатисантиметровые гвозди и молоток. После того, как он намертво заколотил дверь подлой квартиры, Лидке с новым другом пришлось выбираться на волю по пожарной лестнице. Веня был так потрясен внезапным снисхождением этой могучей женщины, что всю ночь читал ей стихи, а под утро предложил руку и сердце. Она сначала долго смеялась, а потом согласилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.